

ДБ  
бф 40-1-  
I. 11-90  
История  
освобождения  
России -  
М, - 1918 -



1003

X

Заполняется разборчиво

**ТРЕБОВАНИЕ**

Билет № 28200/814

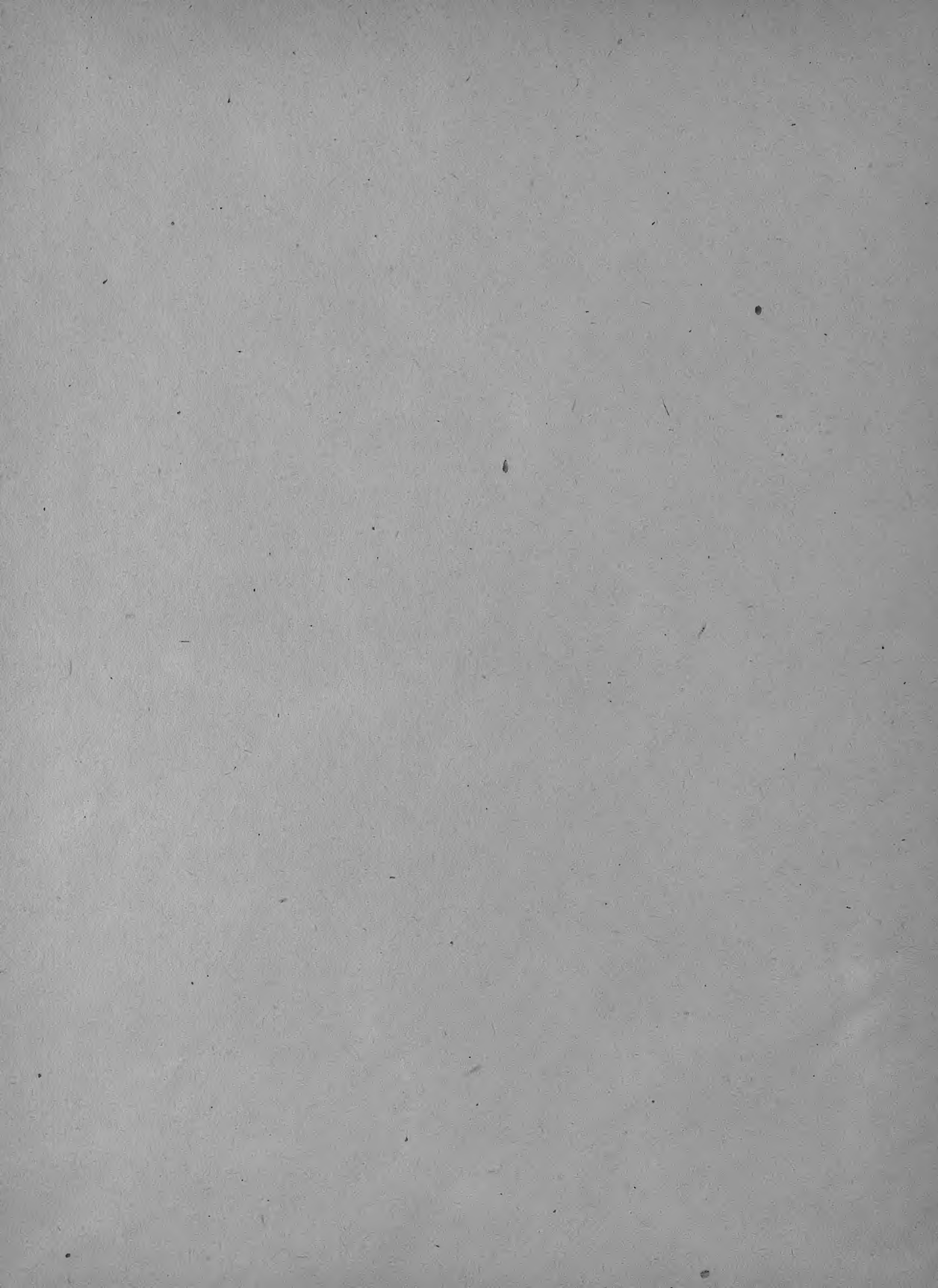
Дата 3/IV-802











# ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ



# „Исторія Освобожденія Россіи“.

## СОДЕРЖАНІЕ:

- 1) Введеніе. Царизмъ и революція.
- 2) Общественно-литературныя теченія конца XIX вѣка.
- 3) Земскій либерализмъ.
- 4) Народничество и партія социалистовъ-революціонеровъ.
- 5) Рабочій классъ и социаль-демократическая партія.
- 6) Дальневосточный кризисъ.
- 7) Рабочее возстаніе (9 января—декабрь 1905 г.).
- 8) Аграрное движеніе.
- 9) Движеніе въ войскахъ.
- 10) Національный вопросъ въ первой революціи.
- 11) Двѣ думы (27 апрѣля 1906 г.—2 іюня 1907 г.).
- 12) Контръ-революція (погромы, военно-полевые суды, провокація и т. д.).
- 13) Отраженіе первой революціи въ литературѣ и искусствѣ.
- 14) Соціальныя итоги первой революціи.
- 15) Экономическій расцвѣтъ.
- 16) Литература періода реакціи.
- 17) Внѣшняя политика столыпинщины и международный кризисъ 1914 г.
- 18) Буржуазія и война.
- 19) Рабочее движеніе до и во время войны.
- 20) Эмиграція.
- 21) Февральскіе и мартовскіе дни.
- 22) Политическія партіи.
- 23) Россійская революція до октября 1917 г.
- 24) Октябрьская революція.
- 25) Россійская Соціалистическая Федеративная Совѣтская Республика.





323.2/147/1-1

Россійская Соціалистическая Федеративная Совѣтская Республика.

26900/4 ✓

„Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!“

# Исторія Освобожденія Россіи



ИЗДАТЕЛЬСТВО

Всероссійскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета Совѣтовъ  
Рабочихъ, Солдатскихъ, Крестьянскихъ и Казачьихъ Депутатовъ.

Москва 1918.

---

## УЧАСТІЕ ПРИНИМАЮЩЕ :

В. АВАНЕСОВЪ, АНТОНОВЪ (ОВСѢНКО), Н. БУХАРИНЪ, К. ЕРЕМЬ-  
ЕВЪ, К. ЗАЛЕВСКІЙ, Г. ЗИНОВЬЕВЪ, Ю. КАМЕНЕВЪ, В. КЕРЖЕН-  
ЦЕВЪ, Ю. ЛАРИНЪ, К. ЛЕВИНЪ, Н. ЛЕНИНЪ (ВЛ. УЛЬЯНОВЪ),  
А. ЛОМОВЪ, А. ЛУНАЧАРСКІЙ, Д. МАНУИЛЬСКІЙ,  
ВЛ. МЕЩЕРЯКОВЪ, В. МИЛЮТИНЪ, Л. ОБОЛЕНСКІЙ,  
М. ПАВЛОВИЧЪ, М. ПОКРОВСКІЙ, Г. ПЯТАКОВЪ,  
К. РАДЕКЪ, Я. СВЕРДЛОВЪ, Г. СОКОЛЬНИ-  
КОВЪ, Л. СОСНОВСКІЙ, Л. СТАРКЪ,  
Ю. СТЕКЛОВЪ, И. СТЕПАНОВЪ,  
Л. ТРОЦКІЙ, А. УСТИНОВЪ,  
В. ФРИЧЕ и др.

---

МОСКВА—1918.

ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФИИ А. И. МАМОНТОВА.  
Арбатская площ., Филипповскій пер., 11.



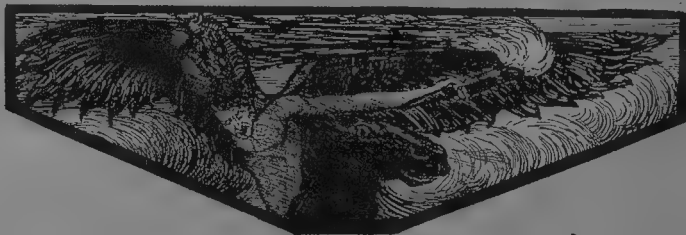
## ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Исторія освобожденія Россіи“ запаздываетъ выходомъ, и это оттого, что она пыталась выйти слишкомъ рано. Лѣтомъ 1917 года, когда задумано было изданіе, еще преждевременно было говорить объ „освобожденіи“: Россія была лишь на пути къ тому, чтобы освободиться отъ своего царистскаго прошлаго. Попавшіе теперь въ руки совѣтской власти дневники Николая Послѣдняго съ непрекаемостью устанавливають фактъ, давно чувствовавшійся всѣми, безпристрастно и безъ иллюзій наблюдавшими „освобожденную“ Россію Керенскаго: сердце низвергнутаго самодержца билось въ унисонъ съ сердцами тѣхъ, кто его низвергалъ,—точнѣе тѣхъ, кому низвергнувшій Романовыхъ народъ имѣлъ наивность довѣрить продолженіе начатаго имъ дѣла. Въ отзывѣхъ Николая о Керенскомъ звучать теплыя ноты; когда Керенскій долго не прѣзжаетъ въ Царское, Николай явно тоскуетъ—а когда Керенскій рѣшается, наконецъ, снять маску со своей „свободы“, и на фронтѣ начинаются массовые разстрѣлы, Николай ликуетъ вмѣстѣ съ „временнымъ революціоннымъ правительствомъ“ и беспокоится лишь объ одномъ: не поздно ли? Не слишкомъ ли далеко зашла революціонная гангрена? Можно ли еще спасти царизмъ, не формальный, но царизмъ реальный, подлинный—не „изъѣденную молью порфиру“, а то, что уже десятилѣтіями крылось подъ ней, чему служилъ и самъ Николай и во славу чего были воздвигнуты три тысячи столыпинскихъ висѣлицъ.

Если бы для октябрьской революціи нужно было моральное оправданіе, оно теперь на лицо—въ романовскихъ бумагахъ послѣдней, послѣмартовской, формации. При свѣтѣ этихъ бумагъ становится понятно, до чего наивно было умиленіе передъ „освобожденной“ Россіей въ тѣ дни, когда снявшій корону другъ Керенскаго короталъ время, пиля дрова въ почетномъ уединеніи Царскаго. Старый режимъ былъ и физически и психически такъ близко отъ „новаго“, изъподъ краснаго цвѣта свѣжевыкрашенной республики такъ еще явственно сквозила черно-бѣло-желтая царская грунтовка, что обратная перекраска была легче легкаго. И если бы не октябрь, Николай или Михаилъ прочно сидѣли бы уже теперь снова въ Зимнемъ дворцѣ, наводя „порядокъ“ при помощи тѣхъ самыхъ чехо-словацкихъ или бѣлогвардейскихъ бандъ, которыя теперь грызутъ стѣны совѣтской крѣпости снаружи—а тогда хозяйничали бы внутри на всей своей волѣ. Только октябрь сдѣлалъ вторую русскую революцію великой—не меньше ея французской старшей сестры. Все, что было раньше, было лишь прологомъ, только въ октябрѣ начался первый актъ драмы—и отъ финала мы еще страшно далеки. „Подводить итоги“ даже теперь рано—рано и на тотъ, почти совершенно невѣроятный, случай, если бы великая русская революція и въ томъ оказалась похожей на свою французскую предшественницу, что осталась бы одинокой въ своихъ національных рамкахъ.

Непредвидѣнная не только первымъ штабомъ сотрудниковъ, принявшимся—или только собиравшимся приниматься—за работу лѣтомъ прошлаго года, но и вторымъ, начавшимъ писать уже въ сентябрѣ, октябрьская революція теперь, естественно, становится главнымъ сюжетомъ книги. Все остальное, не исключая и событій съ марта по октябрь 1917 г., приходится разсматривать, какъ „подготовку“, причемъ, быть можетъ, болѣе старые этапы—какъ напримѣръ, рабочая революція 1905 г. — заслуживаютъ даже большаго, относительно, вниманія, чѣмъ керенщина, какъ таковая. Только первый могучій удар народной руки по мономаховой шапкѣ, да дни 3—5 іюля (какъ радовался Николай побѣдѣ „революціоннаго“ правительства надъ большевиками!), въ качествѣ событій, могутъ нѣсколько длительно фиксировать наше вниманіе. Помимо этого, приходится слѣдить лишь за катастрофически быстрымъ процессомъ гніенія буржуазнаго базиса новѣйшей—послѣ 1905 года—романовской надстройки. Идейная программа подлинной революціи, лишь начинавшейся іюльской перестрѣлкой на петроградскихъ улицахъ, была уже, въ сущности, дана въ зарубежной русской литературѣ съ 1914 года; — попытки же воскресить старое народничество были столь же безнадежны, какъ и стѣнная перелицовка цензовой монархіи на „демократическую“ республику въ кадетской программѣ. Теперь, слышно, кадеты Скоропадскаго отказались отъ заимствованнаго костюма — и правильно: что за охота быть ряженымъ, котораго самый нехитрый человекъ узнаетъ съ перваго же взгляда?

Въ одномъ отношеніи новая книга—и по плану, и по выполненію <sup>3</sup>/<sub>4</sub> выпускаемой—теперь „Исторіи Освобожденія Россіи“ явятся совершенно новой, даже не предусматривавшейся осенью прошлаго года, книгой—держитъ старое обѣщаніе, даже въ большемъ объемѣ, чѣмъ оно было дано: послѣднія главы будутъ не только заключать въ себѣ воспоминанія участниковъ, онѣ будутъ сплошь написаны прямыми или косвенными участниками октябрьскаго переворота. И это, конечно, какъ бы автоматически исключаетъ участіе въ книгѣ людей, по ихъ винѣ или по ихъ несчастію оказавшихся „по ту сторону“ октябрьскихъ баррикадъ. Эти баррикады навсегда покончили съ тѣмъ неопредѣленнымъ — и очень часто сомнительнымъ—„республиканцемъ“, къ которому иногда въ шутку придѣлывали эпитетъ „мартовскаго“. Въ октябрѣ онъ окончательно увялъ — расцвѣтши затѣмъ весной въ образѣ бѣлогвардейской лиліи—цвѣтокъ, который никто не приметъ за республиканскую эмблему. Сотрудники новаго изданія откровенно заявляютъ, что они не ищутъ никакихъ промежуточныхъ цвѣтовъ—и что красное знамя они считаютъ, прежде всего, знаменемъ партіи, ведшей рабоче-крестьянскую революцію осенью прошлаго года, т. е. коммунистической партіи. Подавляющее большинство новаго штаба сотрудниковъ принадлежитъ именно къ этой партіи — и это еще разъ закрѣпляетъ то основное положеніе, что исторія революціи пишется тѣми же руками, которыми она и дѣлалась.





BBEDerfie







Февральско-мартовская революция. 1917 года.

У памятника Пушкина в Москве.

Съ картинахъ зрѣт. А. Г. раск. 2000.





## Царизмъ и революція.

М. Н. ПОКРОВСКАГО.

### I.

#### Мистическій царизмъ.



В исторіи царизма самое, быть можетъ, замѣчательное — та легкость, съ какою произошло его паденіе. Какими наивными представляются намъ теперь страхи декабристовъ, что одні церковныя ектенны не дадутъ Россіи сдѣлаться республикой! Какими недалёковидными слышавшіяся еще десять-двѣнадцать лѣтъ назадъ прорицанія невиданнаго черносотеннаго взрыва въ случаѣ, если революція осмѣлится дерзкой рукой коснуться „помазанника“. „Помазанникъ“ превратился въ административнаго ссыльнаго — и ни одна рука не поднялась на его защиту: а измѣненія текста ектенны никто, кажется, и не замѣтилъ. Взять республику оказалось легче, чѣмъ конституцію: сорока лѣтъ муравьиной работы было мало, чтобы приучить російскую монархію къ европейскимъ формамъ обращенія съ подданными — сорока часовъ было достаточно, чтобы категория „подданныхъ“ вовсе исчезла, и чтобы вопросъ объ ограниченіи монархическаго произвола утратилъ всякій смыслъ, потому что некого стало ограничивать. А иные изъ дѣятелей революціи были уже взрослыми, когда одинъ очень умный русскій человѣкъ писалъ: „всякія ограниченія верховной власти въ Россіи, кромѣ идущихъ отъ нея самой, были бы невозможны, и потому, какъ иллюзія и самообольщеніе, положительно вредны“ \*).

Въ чемъ секретъ этой легкости? Неужели правъ былъ тотъ петрашевецъ, который, за тридцать лѣтъ до Кавелина, увѣрялъ, что въ Россіи народъ ненавидитъ царя? Или республиканскія традиціи вѣчевой Руси дремали пятьсотъ лѣтъ, чтобы неожиданно пробудиться въ двадцатомъ столѣтіи? Можно быть увѣреннымъ, что если что дремало, еще недавно, въ самыхъ темныхъ глубинахъ народной массы, то это были не республиканскіе идеалы, а остатки вѣры въ мистическій царизмъ. Во имя этой вѣры — пусть наполовину уже не вѣры, а только смутной привычки вѣрить — шли 9 января петербургскіе рабочіе къ Зимнему дворцу: теперь, когда анти-монархическая революція развернулась до самаго логическаго конца, объ этомъ можно говорить свободно, никого не рискуя „соблазнить“. Объ объективнo пролетаріатъ былъ революціонеръ всегда — даже когда русскій рабочій не зналъ слова „революція“: тѣ кто революціи боялся, отлично это понимали, какъ мы скоро увидимъ. Но субъективнo въ своихъ мысляхъ и чаяніяхъ, только послѣ кроваваго опыта 1905 года русскій пролетарій окончательно и безповоротно сталъ республиканцемъ. Еще Зубатовъ могъ быть не только провокаторомъ, но и демагогомъ — что же касается Гапона, то онъ былъ прежде всего дема-

\*) К. Д. Кавелинъ, „Сочиненія“ II. 964. Эти строки написаны въ 1877 г.



гомомъ, а потомъ уже провокаторомъ. Нужны были поколѣнія придворной жизни, нужна была полная отвычка отъ нормальной, здоровой человѣческой психологіи, чтобы ни послѣдній Романовъ и никто изъ его родни не сумѣли — на счастье русской революціи — стать такими демагогами. А какъ, въ сущности, не трудно было бы обернуть 9 января на пользу романовской династіи! Какъ просто было бы ласково принять рабочихъ, надавать имъ кучу обѣщаний — не болѣе реальныхъ, чѣмъ манифестъ 17 октября — и на десятилѣтіе, быть можетъ, подогрѣть монархическія чувства простыхъ людей, ослѣпив ихъ глазомиражемъ, которому даже эти простые люди почти перестали уже вѣрить!

Ибо въ этомъ-то и заключается секретъ легкости республиканской революціи въ Россіи: революціонный миражъ мистическаго царизма сталъ понятенъ народной массѣ — т.-е. стало ей понятно, что это миражъ. До такой степени классовое содержаніе царизма реальнаго, не мистическаго, било всеѣмъ въ глаза. Выше мы противопоставляли объективную революціонность рабочаго класса его монархическимъ иллюзіямъ; и это противопоставленіе вѣрно, поскольку мы беремъ революцію въ ея современномъ аспектъ — какъ революцію республиканскую. Но республиканскіе идеалы пришли въ русскую народную массу сверху: первымъ теоретическимъ республиканцемъ въ Россіи былъ Радищевъ, первыми, кто попытался теорію сдѣлать практикой, — декабристы. „Интеллигенція“ у насъ стала республиканской гораздо раньше „народа“. Но это отнюдь не значитъ, чтобы народъ въ Россіи былъ

кроткой овечкой: объ этомъ кое-что знаютъ русскіе помѣщики. Раньше, чѣмъ стать республиканской, народная русская революція была — не будемъ пугаться этого слова — монархической. Мистическій царизмъ былъ революціоннымъ идеаломъ, ибо его торжество — въ народномъ воображеніи — отождествлялось съ полнымъ крушеніемъ всего соціальнаго строя, такимъ тяжелымъ грузомъ лежавшаго на русскомъ крестьянинѣ. Мистическій царизмъ былъ, уже съ начала семнадцатаго вѣка, революціонной крестьянской идеологіей въ Россіи. Знакомымъ съ русской исторіей должно было бросаться въ глаза, что популярны въ народной массѣ русскіе цари всѣ были нелегальные — или не совсѣмъ легальные. Это легенда, будто народъ любилъ „царя-освободителя“, Александра II: вечеромъ въ день его трагической смерти Петербургъ былъ „такой же, какъ всегда“, записалъ Валуевъ. А величайшаго изъ Романовыхъ, Петра I, народъ опредѣленно ненавидѣлъ — это фактъ слишкомъ общеизвѣстный, чтобы стоило на немъ настаивать. Зато „солнышкомъ краснымъ“ для своихъ вѣрныхъ подданныхъ, казаковъ и бѣглыхъ холоповъ, былъ Названный Димитрій, едва не уничто-



*Алексій Михайловичъ въ одеждѣ малороссійскаго гетмана.*

жившій вовсе холопомъ кабалу. И когда бояре его костюмировали въ пушки, народъ четыре года жилъ вѣрою въ его призракъ — именемъ котораго бѣглый холопъ и вождь холопей рати, Болотниковъ, приглашалъ крѣпостныхъ „бояръ своихъ убивать и женъ ихъ и имѣніе брать себѣ“. Нужна была псевдо-демократическая кандидатура Романовыхъ (вышедшая изъ холопьяго стана, Тушина, и выкрикнутая казаками, которые, конечно, иного ждали отъ царя Михаила, чѣмъ укрѣпленіе крѣпостнаго права!), чтобы призракъ потускнѣлъ въ глазахъ русскаго крестьянства. А когда, полтора столѣтія спустя, жавшій это послѣднее прессъ снова былъ завинченъ „до отказа“, воплощеніемъ народныхъ чаяній олять сталъ „царь Петръ Θεодоровичъ“ — котораго палачъ Екатерины II четвертовалъ на Болотной площади, въ Москвѣ, какъ „Емельку Пугачева“. И до чего характерны эти уничижительныя прозвища — „Гришка“, „Емелька“ — которыми официальная традиція награждала царей русской народной массы. Холопій царь — и прозвище ему рабское..

Не будем пускаться въ анализъ историческихъ корней „революціоннаго царизма“: это завело бы насъ слишкомъ далеко. Кое какую реальную почву для монархическихъ иллюзий можно бы найти очень близко отъ перваго выступленія „холопскихъ царей“ — совсѣмъ накануне смуты. Тушинская катастрофа уже со смерти Грознаго носилась въ воздухѣ, и предусмотрительные люди торопились открыть кое-какіе клапаны. „Рабоцарь“ Борисъ Θεодоровичъ Годуновъ, несомнѣнно, кое-что дѣлалъ для народной массы, и въ смыслѣ борьбы съ грабёжами администраціи, и въ смыслѣ кормленія голодающихъ — быть можетъ, даже до попытокъ урегулировать крѣпостное право: показанія и русскихъ современниковъ (притомъ часто враждебныхъ Борису), и, въ особенности, иностранцевъ слишкомъ единодушно насчетъ общей политики Годунова, чтобы оставалось мѣсто для сколько-нибудь обоснованныхъ сомнѣній именно по поводу общаго характера этой политики, какъ бы ни были спорны отдѣльныя детали. Не даромъ и померъ царь Борисъ почти, какъ полагается „народному“ царю въ Россіи: если не на плахѣ, то и не своей смертью, отравившись передъ лицомъ побѣдоноснаго боярскаго заговора. Прокру отъ его заботъ для народной массы было мало — его продовольственная политика, примѣръ, только обострила голодъ: но народной массѣ такъ мало нужно, чтобы начать ждать и надѣяться. Почему эти чаянія и надежды отливались именно въ эту форму — ожиданія личнаго „спасителя“, отвѣтъ на этотъ вопросъ приходится искать въ народной психологіи, такъ хорошо схваченной недоумѣвавшимъ передъ нею Герберштейномъ: „Всѣ говорить — воля государя божья воля; что ни дѣлаетъ государь, все это онъ дѣлаетъ по божьей волѣ; онъ словно какъ ключникъ или дворецкій у Господа Бога, — творить то, что Богъ велитъ. Самъ государь, если, его о чемъ-нибудь просятъ, хотѣ, примѣръ, объ освобожденіи узника, обыкновенно отвѣчаетъ: если Богъ повелитъ — освободимъ!“ Если мы захотимъ пойти еще дальше въ поискахъ объясненія, намъ встрѣтятся древне-вавилонскій „патеси“, который былъ уже не „какъ бы“, а взаправду, дворецкимъ и ключникомъ бога Нингирсу, и египетскій фараонъ, котораго подданные такъ и называли „великимъ богомъ“ или „добрымъ богомъ“. Мистическій ужасъ и надежда всегда уживались въ этой психологіи: мало того, они всегда неизмѣнно сопровождали одинъ другую: Перунъ билъ громомъ — но онъ же обезпечивалъ урожай. Хотѣлось, чтобы громовыя стрѣлы поражали злыхъ, а урожай доставался добрымъ: нужно было много времени, чтобы люди привыкли къ полному моральному безразличію и молніи, и урожая. Царская гроза была необходимымъ обезпеченіемъ социальной справедливости: „если не великою грозой угрозили, то и правды въ землю не ввести“, писалъ русскій публицистъ временъ молодости Грознаго, — „и какъ конь подъ челоукомъ безъ узды, такъ и царство подъ царемъ безъ грозы“. Этотъ публицистъ вышелъ не изъ народа, но онъ былъ врагомъ бояръ и популярныя мотивы ему не чужды. Если не считать малокровныхъ церковныхъ увѣщаній, онъ былъ первымъ, кто на Руси возвысилъ голосъ противъ рабства — накануне торжества крѣпостнаго права. И онъ первый дерзнулъ поставить социальную справедливость выше церковнаго благочестія: „не вѣру Богъ любить, а правду!“ Кто бы, подумалъ, что черезъ сто лѣтъ послѣ этого люди будутъ умирать за единый азъ?

## II.

### Царизмъ историческій. Московскіе цари и торговый капиталъ.

Бѣда въ томъ, что вся идеологія мистическаго царизма шла противъ теченія. Какъ христіанство въ свое время было отвѣтомъ на кабалу античнаго торговаго капитала — и въ своемъ идеалѣ давало капиталистическій міръ, вывернутый на изнанку, — такъ наши крестьянскіе революціонеры 17—18-го вѣковъ ничего не могли себѣ представить далѣе боярскаго вотчинья, опрокинутой на спину. А потокъ экономическаго развитія несъ совсѣмъ въ другую сторону. Христіанскіе мыслители въ одинъ прекрасный день очутились передъ церковью, которая была такимъ полнымъ воплощеніемъ торговаго и ростовщическаго капитала, что рядомъ съ нею откупщикъ временъ императора Августа казался младенцемъ: когда же они попробовали протестовать, — ихъ объявили еретиками, а та самая императорская полиція, что раньше защищала откупщика, теперь выступила на защиту церкви. Боярская вотчина, гдѣ крестьянинъ былъ рабомъ, рушилась, но на ея мѣстѣ выросло нѣчто, еще болѣе ужасное, — помѣщичье имѣніе, гдѣ крестьянинъ былъ уже рабочимъ скотомъ. И создателемъ этой перемѣны была та самая царская власть, на которой покоились всѣ надежды закрѣпощаемыхъ. Потому что реаль-

ный, не воображаемый, царизм работал не против экономического течения, а в его направлении, сам, первый, используя для себя каждый шаг вперед народного хозяйства. Впереди же, для московской Руси первых Романовых, лежало не крестьянское царство божие, где у всех есть земля и воля, а железное царство торгового капитализма, для которого неволя работающей массы была первым условием существования.

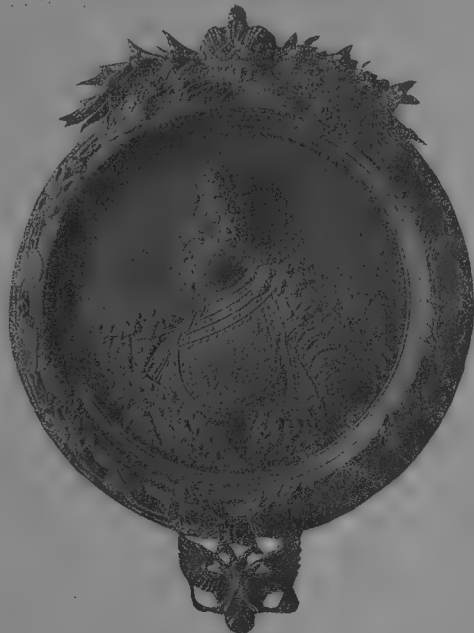
В истории народного хозяйства, сосредоточение в одних руках средств обмена началось гораздо раньше сосредоточения в одних руках орудий производства. Крупное производство стало окончательно, безусловно выгоднее мелкого только с появлением паровой машины, т.-е. 18-го века: раньше, эксплуатировать отдельного мелкого ремесленника, который ничего не стоит эксплуататору, часто бывало выгоднее, нежели затрачивать капитал на постройку зданий и собирать в эти здания рабочих, которые в ту, „мануфактурную“, эпоху, когда все делалось руками и зависело от искусства рук, обходились, относительно, гораздо дороже, чем в наше машинный, век. Но капитализм старше 18-го столетия — уже 16-е знало и банкиров, и крупные компании. Этот капитализм сложился именно в области обмена. Как только этот последний принял крупный характер, как только стали передвигаться массы товаров — а передвигать товары массой всегда было выгоднее, чем возить их по мелочам — средства обмена должны были концентрироваться в одних руках. Самым дешевым способом массового транспорта было море: но морской корабль, даже средневековой, с его тысячами пудов груза, десятками матросов, был предприятием не ремесленного типа. „Корабельщик“ был первым типом предпринимателя — со всеми его особенностями, включая и незнакомый ремесленнику предпринимательский риск: вспомните Робинзона Крузо. На риск шли, потому что и предпринимательская прибыль была велика — как хорошо отпечаталось в пословице: „за морем телушка полушка, да рубль перевоза“. Но, спросить читатель, какое же это отношение имеет к России? Известно, что у нас флот „завел“ Петр Великий — который даже и называться стал уже не „царем“, а „императором“. Какая же связь между торговым капитализмом и старым московским царизмом?

Прежде всего, нужно твердо запомнить, что петровская эпоха была не началом, а расцветом русского торгового капитализма — который в эту эпоху поднимался до дерзаний, слишком смелых даже и по нынешним временам. Начатки же относятся к векам, много более ранним. Самое возникновение Московского царства уже связано с торговыми интересами — как всем давно известно из схемы Соловьева, популяризованной покойным В. О. Ключевским. Московский центр образовался на перекрестке торговых путей — старого, связывавшего землю смоленских кривичей с болгарским Поволжьем, откуда восточные товары и восточное культурное влияние доходили до Скандинавии — и более нового, связывавшего торговый и промышленный Новгород с земледельческим „низем“, главным образом, с хлебобородной рязанской землей. Свывая на таком выгодном месте московская буржуазия — о буржуазии в Москву приходится говорить уже для конца 14-го века, когда городское население одно, без князя и бояр, защищало город от Тохтамыша — очень рано должна была проявить „великодержавные“ аппетиты. К сожалению, источники наши слишком скудны, чтобы преследить ее влияние на „собирательную“ политику первых московских князей — но уже аннексия Иваном III Новгорода была типичным актом буржуазной политики. Яблоком раздора между старой вичевой общиной и заново свитым гнздом будущего царизма был крайний север России — Двинская земля и Заволочье, нынешняя Архангельская губерния, с ее соседками на восток, — источник ценных мехов и „Закамского“ серебра. Москва долго старалась отбить Двину у Новгорода, и взяла ее, наконец, вместе с новгородской свободой. Вопрос об этой последней был, в сущности, совершенно второстепенным — после первой аннексии, в 1471 году, Иван Васильевич оставил вичевой строй неприкосновенным: но свобода несовместима вообще ни с каким империализмом, ни в 15-м, ни в 20-м веке. „Активная колониальная политика“, которую вела Москва относительно севера, прежде всего, исключала внутреннюю политическую свободу для нее самое: успех теорий, обожествлявших великокняжескую власть в Москву понятен не менее, нежели апофеоз Китченера и его приемов управления в современной Англии. Для захватов и аннексий нужна профессиональная армия — для профессиональной армии нужна твердая рука. А затем, раз имелось в виду ограбить Новгород, оставить его свободной общиной было прямо опасно. Оставить же в его руках монополию заграничной торговли, которой он до тех пор фактически пользовался, было не



только опасно, но и не выгодно. Такие акты политики Ивана III, как переводъ въ Москву новгородскаго купечества—съ замѣною его въ Новгородѣ московскими иммигрантами—, какъ закрытіе новгородскихъ ганзейскихъ конторъ—что было равносильно перенесенію центра заграничной торговли тогдашней Россіи въ Москву—вытекали изъ этой ситуаціи сами собою.

Пусть не смущается читатель, что мы еще не видимъ моря. Во-первыхъ, водяной путь массового транспорта—не только море: большія рѣки могутъ служить, и всегда служили, этой цѣли не менѣе успѣшно. Вся культура западной Германіи создана Рейномъ. У насъ на Волгѣ уже въ 17-мъ вѣкѣ умѣли строить „насады“ въ 2000 тоннъ водоизмѣщенія, съ сотнями бурлаковъ-матросовъ. „Морской“ царь Петръ, въ сущности, боролся именно за рѣчной, волжскій путь. Но не будемъ забѣгать впередъ: и море показывается на русскомъ горизонтѣ гораздо раньше Петра. Аннексія Новгорода логически вела не только къ разгрому вѣчевого строя, но и къ борьбѣ за Балтійское море; если эта борьба была отложена на столѣтія, то потому, что вниманіе Москвы было занято другимъ концомъ все того же пути—въ промежуткѣ она завоевала Казань. Этотъ успѣхъ окрылилъ надежды московскаго имперіализма—и уже черезъ пять лѣтъ воеводы Ивана Грознаго строятъ на устьѣ рѣки Наровы „корабельное пристанище“, по теперешнему, гавань. Обороты нарвской торговли, съ 1557 по 1581 годъ, когда Нарва была потеряна русскими, мѣрялись, если вѣрить Флетчеру, сотнями кораблей и сотнями тысячъ пудовъ груза. „Окно въ Европу“ было прорублено гораздо раньше, чѣмъ обыкновенно думаютъ.



Петръ I.  
Съ медальона-бюста раб. Растрелли-отца.

### III.

#### Петровскій имперіализмъ и крѣпостное хозяйство.

Но въ серединѣ 16-го вѣка въ расцвѣтѣ были два другихъ имперіализма, хотя соперничавшихъ между собою, единодушныхъ въ своей цѣли: оба жадно заглядывались на само московское царство, какъ на лакомую добычу. То были имперіализмы польскій и шведскій—Польша только что сложилась въ великую державу, удачно аннексировавъ лучшую часть бывшаго литовскаго государства, Швеція, подъ властью потомковъ „торговаго мужика“, Густава Вазы, который „нарядясь въ рукавицы, за простого человѣка сала и воску опытомъ пыталъ“, готовилась стать великой державой въ слѣдующемъ столѣтіи, и была уже теперь, при Грозномъ, достаточно велика, чтобы дать урокъ издѣвавшемуся надъ ея „торговымъ“ государемъ московскому боярству. „Окно въ Европу“ было снова заколочено, а въ политикѣ московскаго имперіализма начался большой отливъ, низшей точкой котораго была Смута. Революція—Смута была, въ сущности, не чѣмъ инымъ, какъ крестьянской революціей—и имперіализмъ всегда уживался плохо. За это время польскій и шведскій имперіализмы были не такъ далеки отъ своей цѣли; польскій королевичъ уже сидѣлъ на московскомъ престолѣ, кандидатура шведскаго была весьма серьезна, и поддерживалась такими „добродѣтельными“ элементами, какъ князь Пожарскій и его кружокъ. Національную династію спасла казацкая демократія. Оперившись, эта династія не могла дѣлать ничего другого, какъ продолжать имперіалистическую политику послѣднихъ московскихъ рюриковичей. Водяная хорда, связывавшая европейскій Западъ съ Передней и Средней Азіей, линія: Балтійское море—Волга—Каспійское море, приобрѣтала

теперь исключительное значение—по ней легче и скорее всего могъ идти въ Европу шелкъ. „Торговля шелкомъ есть, безъ сомнѣнн, самая важная изъ всѣхъ, которыя ведутся въ Европѣ“, писалъ въ серединѣ 17-го столѣтн Адамъ Олеарій. И его земляки, голштинцы, практически подтвердили эту литературную сентенцію, предложивъ Москвѣ, за шелковую монополію, платить ежегодно по 5 милліоновъ рублей золотомъ, на теперешніе деньги. Москва, было, соблазнилась—но у голштинцевъ денегъ не оказалось въ наличности... Старый путь, сворачивавшій съ Волги, отъ Ярославля, на Вологду, и потомъ Двиною на Архангельскъ, заканчивалъ эту хорду новой дугой, отнимавшей  $\frac{2}{3}$  предпринимательскаго барыша: на Бѣломъ морѣ, благодаря краткости періода навигаціи, торговый капиталъ могъ обернуться лишь разъ въ годъ (русскій шелковый караванъ проходилъ даже только разъ въ три года!), тогда какъ на Балтійскомъ онъ давалъ въ годъ три оборота. Это наблюденіе, за нѣтьдесять лѣтъ до сѣверной войны сдѣланное апостоломъ балтійской торговли, переселившимся въ Ригу фламандцемъ де-Родесомъ, въ одной математической формулѣ резюмируетъ всю философію внѣшней политики Петра. Четвертый Романовъ не успокоился раньше, чѣмъ самый выгодный путь изъ Европы въ Азію сталъ монополіей русскаго торговаго капитала. А утвердившись прочно на



*Петербургъ при Петрѣ I.  
Съ гравюры того времени.*

сѣверномъ его концѣ—съ переходомъ Выборга, Ревеля и Риги къ Россіи она не имѣла здѣсь соперниковъ—онъ сталъ пробивать южный выходъ, и неудача персидскаго похода Петра отмѣтила собою новую остановку въ развѣртываніи русскаго империализма. Въ эту, юго-восточную сторону онъ пошелъ только черезъ полтора-два лѣтъ—на этотъ разъ уже не за шелкомъ, а за хлопкомъ.

Въ промежуткѣ, развитіе русскаго торговаго капитализма опиралось на растительный продуктъ еще болѣе демократическій—коноплю. По словамъ хозяевъ-практиковъ еще начала 19-вѣка, конопляникъ давалъ прибыли въ нѣсколько разъ болѣе, нежели засѣянное пшеницею поле. Помощники Петра, какъ ни велико было ихъ упоеніе одержанными побѣдами, какъ ни широки были рисовавшіяся имъ перспективы, хорошо понимали уже значеніе этого національнаго товара. Намалевавъ яркую картину русскихъ завоеваній въ Азіи, которыя должны были сдѣлать петровскую имперію соперницей Англіи и Голландіи въ ихъ остъ-индскомъ торгѣ, одинъ изъ прожектеровъ Петра писалъ ему: „матеріалъ пенечной всего вашего государства есть главная и основательная (основная) прибыль, которая потребна есть и всему свѣту для морскихъ плаваній къ корабельнымъ снастямъ и къ канатамъ, такъ же и въ прочія потребности: въ которомъ матеріалѣ состоитъ основаніе всѣхъ государствъ морскаго купечества, и безъ котораго не можетъ быть мореплаваніе“. Пусть читатель вспомнитъ, что тогдашній флотъ былъ исключительно парусный, и что паруса и канаты были для него то же, что уголь для

тепершняго флота. Льняные матеріалы, конопля и пенька были главными и очень крупными статьями русскаго заграничнаго отпуска въ 18-мъ вѣкѣ. Хлѣбъ присоединился къ нимъ гораздо позже: только черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ цитированнаго нами сейчасъ Федора Салтыкова другой прожекторъ, секретарь уже третьяго Петра, Волковъ, могъ написать: „хлѣбной здѣшнему государству торгъ натуральнѣе всѣхъ“. Раньше хлѣба не вывозили, не потому, чтобы спросу на него не было—въ Россію за хлѣбомъ прїѣзжали еще при первомъ Романовѣ, — а потому, что находили выгоднѣе перекуривать его въ водку. Но конопляники требовали особенно тщательной обработки земли и хорошаго удобренія: работу давали мужицкія руки, навозъ — мужицкій скотъ. Интенсивное хозяйство, создававшееся на Руси торговымъ капиталомъ, все туже и туже стягивало узелъ крѣпостнаго права. На другой день послѣ Смуты юридически только что закрѣпощенный крестьянинъ былъ вдвое свободнѣе своего внука.

#### IV.

##### „Первый купецъ своего государства“.

А параллельно съ ростомъ торговаго капитализма и крѣпостнаго хозяйства росло и царское самодержавіе. Слово „параллельно“ не совсѣмъ хорошо выражаетъ соотношеніе этихъ трехъ процессовъ. Торговый капитализмъ всюду, самымъ фактомъ своего появленія, вносилъ порабощеніе и разгромъ. Точно въ жилахъ современника Робинзона Крузо текла еще кровь его соціальнаго предка, купца-разбойника времени викинговъ, который въ одномъ углу земли грабилъ, а въ другомъ торговалъ награбленнымъ. Создатель „блага негра“ на русскихъ суглинкѣхъ и черноземѣхъ, именно этотъ торговый капитализмъ былъ создателемъ и его прототипа: неготорговля и всѣ ужасные порядки американскихъ плантацій—тоже дѣло рукъ торговаго капитала. Онъ и крестьянская

неволя, это не два параллельныхъ явленій—это причина и слѣдствіе. То же самое и относительно царизма. Можетъ показаться, что онъ стоитъ въ какомъ-то внѣшнемъ отношеніи къ торговому капитализму, что онъ какъ-то „способствовалъ“ его развитію, и тому подобное. Реальный видъ явленія совсѣмъ другой: самодержавіе росло въ торговомъ капитализмѣ, оно было непосредственно заинтересовано въ его успѣхахъ—ибо это были его успѣхи, успѣхи династіи, успѣхи самодержавія. Связь тутъ была самая интимная—и личная. Уже два



Зданіе коллегіи иностранныхъ дѣлъ.  
Съ аquareли Патерсона 1799 г.

послѣдніе цари старой династіи принимали живѣйшее участіе въ торговлѣ—Грозный посылалъ русскихъ купцовъ въ Антверпенъ со своею „благодѣтностью“, т. е. со ссуженными изъ царской казны капиталами, — его номинальный преемникъ, Федоръ Ивановичъ, былъ пайщикомъ англійской компаніи, торговавшей въ Россіи, а его фактическій преемникъ, номинально тогда еще только бояринъ, Борисъ Годуновъ, — даже главнымъ пайщикомъ этой самой компаніи, потерявшимъ при банкротствѣ одного изъ ея агентовъ до полумилліона рублей на теперешній (1917 года) деньги. При первыхъ Романовыхъ явленіе обобщилось и стало еще выпуклѣе. „Царь—первый купецъ въ своемъ государствѣ“, говоритъ иностранецъ, описавшій намъ дворъ Алексѣя Михайловича. Всѣ важнѣйшія статьи тогдашняго экспорта—икра, рыбій клей, цѣнные мѣха, а первѣе всего, конечно, шелкъ, такъ же, какъ и важнѣйшій „товаръ“ внутренняго рынка—водка, были царскими монополіями. Когда, короткое время, въ 1650-хъ годахъ, вывозили за границу хлѣбъ, монополіей становился и онъ. Крупнѣйшіе коммерсанты страны, гости, были царскими факторами—и, практически, трудно было разобрать, гдѣ



кончались их частные операции, и где начиналась их роль, как доверенных торговых агентов царя. Пятьдесят лет спустя явление только стало еще резче. „Здешний двор“, писал о петровском дворе английский посланник, „совсем превратился в купеческий: не довольствуясь монополией на лучшие товары собственной страны, например: смолу, поташ, ренень, клей и т. п. (которые покупаются по низкой цене и перепродаются с большим барышом англичанам и голландцам, так как никому торговать ими, кроме казны, не позволяется) они захватывают теперь иностранную торговлю: все, что им нужно, покупают за границей через частных купцов, которым платят только за комиссию, а барыш принадлежит казне, которая принимает на себя и риск“. Хотите видеть документальную иллюстрацию к этим словам? Возьмите указ Петра от 2 марта 1711 г., и вы там найдете: „векселя исправить и держать в одном месте; товары, которые на откуп или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и освидетельствовать; о соли—стараться отдать на откуп и поешиса прибыли у оной; торг китайской, сделав компанью добрую, отдать; персидской торг умножить и армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда“. Наказ отъезжающего главы фирмы приказчикам, которые остаются вести дело... А с этого наказа начинается история „Правительствующего Сената“—ибо к нему адресованы цитированные сейчас строки.

Мы так далеки от мистического царизма, от царя-провидения, устанавливающего на земле правду „царскою грозою“, что, боимся, читатель о нем уже забыл. Теории консервативной жизни—он ведет призрачное существование долго после того, как исчезли объективные условия, которым он был обязан своим появлением на свет. „Первый купец своего государства“ выступал перед народом в тяжелом облачении византийских императоров, копируя этих последних с точностью почти иконописной „подлинника“. Каждый шаг его вне двора—и даже вне интимных покоев его дворца—был обставлен раз навсегда почти религиозным ритуалом. Свою империалистическую политику он по старому освящал интересами православия: начав великую тяжбу с Польшей из-за Украины—первый шаг великорусской державы к Черному морю!—московское правительство не нашло лучшего предложения, чем обиды, чинившиеся польским католическим правительством православным монахам. Но как ни упряма теория, приходит и ее черед. Правда жизни просачивалась сквозь ритуал, и когда из-под пера Котошихина выходит живая ценка московских „гилевщиков“—инсургентов, по теперешнему—державных царя Алексея за пуговицы его кафтана, вы чувствуете, что какая-то перемена совершилась. Кому пришлось бы в голову взять за пуговицы Грозного? Но там был прирожденный царь—а не царское происхождение Романовых все слишком хорошо помнили. Четвертому представителю династии надобно явиться—и он явился перед подданными тем, чем был, в коротком немецком платье, с ухватками голландского шкипера. А византийский ритуал стал теперь уже настоящим маскарадом, без всякой, хотя бы показной, мистики. И когда, вместо торжественного шествия на осляти, всешутейшего патриарха повезли на верблюдах „в сад набережной к погребу фряжскому“, у людей; сохранивших способность к мистическим настроениям, весь мир перевернулся в глазах. Верх, стал низом, и на место земного бога поучилась зловещая фигура антихриста. Раскольническая картинка, где в „войнстве антихристовом“ не трудно узнать петровских преображенцев, по своему верно передала совершившееся: реальный царизм, торжествовавший в образе первого императора всероссийского, был прямо противоположен царизму революционных крестьян, шедших когда-то за Димитриями. А на место теории всемирного православного царства выросла русская переделовка теории общественного договора, самое возникновение государственной власти сводившая к торговой сделке: вы нам столько-то порядка, мы вам за это столько-то нашей свободы. Первоисточник этого извода договорной теории не даром был в Англии Робинзон Крузо.

В основе русского „порядка“ лежало крепостное право—и это, повторяем, не случайность: вся система торгового капитализма, сосредоточение средств обмена при господстве мелкого производства, неизбежно требовала „внеэкономического принуждения“ в максимальной дозе. Царизм был таким же естественным увенчанием этого здания в России, каким в Англии 16-го—17-го веков был деспотизм Тюдоров и Стюартов, во Франции абсолютизм Людовика XIV. Чтобы самостоятельного мелкого производителя заставить отдавать свой продукт, нужно было этого самостоятельного—экономически—хозяина лишить всякой политической самостоятельности. В России цель достигалась наиболее грубым сред-



Восстаніе.





ством: полного личного порабощения; въ Англіи и во Франціи средства были болѣе культурныя, но смысл явленія оставался тотъ же. И онъ оставался однимъ и тѣмъ же на всемъ протяжении „классическаго“ періода русской имперіи—отъ Петра I до Николая I включительно. Внутри страны, рядомъ съ тщательной охраной права помѣщика выколачивается „прибавочный продуктъ“ изъ „его“ крестьянъ, искусственно поддѣливается водный путь, который природа оставила незаконченнымъ: сѣтъ каналовъ, связывавшихъ Волгу съ Балтикой, заканчивается какъ разъ въ началѣ 19-го вѣка.

## V.

### Внѣшняя политика Романовыхъ.

Во внѣшней политикѣ неуклонно преслѣдуются тѣ же задачи. Россія ведетъ три войны съ Швеціей и успокаивается не прежде, чѣмъ послѣдняя была отброшена за Ботнический заливъ—путь изъ западной части Балтійскаго моря въ Неву теперь былъ всецѣло въ русскихъ рукахъ. А когда сознали, что „хлѣбный дѣйшему государству торгъ натуральнѣе всѣхъ“, и начался вывозъ пшеницы, началась вѣковая борьба за „проливы“—къ черноземнымъ губерніямъ всего ближе было Черное море. Торговый капиталъ царилъ въ Мономаховой шапкѣ—и судьба физическихъ носителей этой послѣдней зависѣла отъ того, насколько они умѣли угадать интересы настоящаго хозяина. Павелъ I, какъ извѣстно, погибъ потому, что несвоевременнымъ разрывомъ съ Англіей остановилъ внѣшнюю торговлю Россіи\*). Менѣе извѣстно—по крайней мѣрѣ, меньше обращаютъ на это вниманіе—что и его старшій сынъ, сентиментальный и мистически настроенный Александръ Павловичъ, какъ бы ему самому ни рисовались задачи его внѣшней политики, фактически руководился въ ней интересами торговаго капитала. Союзъ съ Франціей, втягивавшій Россію въ сѣтъ „континентальной блокады“, былъ выгоденъ русской крупной промышленности—подъ защитой огромной таможенной стѣны, воздвигнутой Наполеономъ, она стала быстро развиваться. Но это былъ смертельный ударъ для русско-англійскаго торговаго—и этого было достаточно, чтобы Александръ, какъ бы онъ ни „ненавидѣлъ англичанъ“, сталъ ихъ союзникомъ и противникомъ Наполеона. Официальная легенда приписывала этому послѣднему нападенію на Россію—опубликованные въ послѣдніе годы документы не оставляютъ никакого сомнѣнія, что нападеніе задумано было въ Петербургѣ. Еще ни одинъ полкъ „великой арміи“ не началъ своего марша къ русской границѣ, когда Александръ писалъ (лѣтомъ 1811 года—ровно за годъ до начала Отечественной войны): „Если Англія желаетъ видѣть Россію способной оказать дѣйствительное сопротивление Франціи, она должна помочь заключенію мира съ Турціей на условіяхъ, почетныхъ для Россіи. Существенно также, чтобы Англія помогла Россіи нести издержки, которыя влекутъ за собою столь огромныя вооруженія (т. е. вооруженія, необходимыя для борьбы съ Наполеономъ):



Павелъ въ одеждѣ великаго магистра Мальтійскаго ордена.

\*) Глава заговорщиковъ, Зубовъ, началъ свою рѣчь къ нимъ съ указанія на „безразсудность разрыва съ Англіей, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ея экономическое благосостояніе“. (Записки Чарторыйскаго).

если бы она могла, например, взять на себя голландский долг, цель была бы достигнута. Если, при посредстве Англии, мы добьемся таких результатов, Россия тотчас же прекратит свою ссору с Англией и откроет последней свои порты, потому что она тогда в состоянии будет отбить, неизбежное в этом случае, нападение Франции". Тем временем велись деятельные переговоры с Испанией и, через посредство испанских агентов, с самой Англией. В январе 1812 г. переговоры зашли так далеко, что испанцы потребовали документа, и им было показано письмо Александра, где говорилось: „Россия, благодаря своим вооружениям и аттитюдъ, которую она приняла, оказывает существенную услугу Испании, отвлекая к северу огромную массу французских сил, которая иначе была бы направлена против Испании. Безъ союзного трактата, эти два государства идут путем, который помогает им быть полезными друг другу". Дальше рисуется план уже военных действий, и суть этого плана сводится к тому, чтобы Испания, воспользовавшись войной на севере, постаралась „перенести войну в самое сердце Франции". Весной того же года в союз с Россией вошла (все это было секретно, разумеется) еще и Швеция — была готова новая коалиция, в которой Англия, по плану Александра Павловича, должна была играть роль „кассира". О войне здесь (письмо Александра от 24 марта 1812) говорилось уже, как о вещи, само собою разумеющейся. Если бы Наполеону удалось завладеть архивом своего противника, онъ безъ труда нашел бы там достаточно аргументов для защиты того положения, что переход французами Немана в июне 1812 года был „актомъ необходимой самообороны".



Николай I въ Лондонѣ въ 1844 г.

Александръ I, можно сказать, и умеръ на службѣ русскому торговому капиталу: смерть застигла его на юге России, в Таганрогъ, куда его привели приготовления къ войнѣ съ Турціей—войнѣ, глубоко противной Александру лично, потому что она была бы косвенной поддержкой ненавистной ему революціи, въ образѣ греческаго возстанія, но неизбежной, потому что турки запирали „продолы" для русской торговли. Задача—очистить путь этой послѣдней—перешла къ Николаю Павловичу, который и разрѣшил ее блестяще, адрианопольскимъ миромъ. Какими идеями и интересами вдохновлялся въ своей

политикѣ этотъ царь—поверхностному наблюдателю кажуційся только солдатомъ—лучше всего рассказать подлинными словами его государственнаго совѣта. Вотъ что читаемъ мы въ „журналѣ" этого учрежденія отъ 11 мая 1836 года: „Если наше купечество доселѣ еще не обратило торговыхъ видовъ своихъ на Персію и Азіатскую Турцію въ томъ пространствѣ, какого требовала бы собственная наша польза, и чему такъ сильно содѣйствуетъ близость и удобство нашихъ торговыхъ путей, политическое первенство Россіи и вліяніе ея на самый бытъ означенныхъ государствъ: то, напротивъ, правительство никогда не оставалось къ сему равнодушнымъ. Отъ первоначальной мысли Петра В., обнаруженной покореніемъ Азова и Дербента, и отъ основанія Одессы до послѣднихъ, столь важныхъ и обширныхъ пріобрѣтеній нашихъ за Кавказомъ и столь выгодныхъ для насъ условій Туркманчайскаго и Адрианопольскаго трактатовъ, ясно видно мудрое намѣреніе нашихъ государей,—намѣреніе наивышше еще раскрытое въ предшедшее и настоящее царствованія, когда, пролагая оружіемъ новые пути для торговли нашей на Востокъ, въ то же самое время наше правительство постановляло внутреннія мѣры, дабы упрочить самобытность коммерческаго нашего сословія, возбудить въ немъ духъ предприимчивости и торговаго честолюбія и утвердить независимость внѣшней торговли нашей отъ иностранцевъ".

Но торговый капиталъ былъ теперь не единственнымъ кандидатомъ на „отеческое попеченіе" со стороны царской власти: самый документъ, который мы сейчасъ цитировали, вызванъ преніями объ уничтоженіи такъ называемаго „Закавказскаго транзита", т. е. о включеніи въ русскую таможенную границу Закавказья, и на этомъ вопросѣ интересы русской торговли—заграничными товарами, купленными на лейпцигской ярмаркѣ—столкнулись съ интересами отечественной промышленности, желавшей, чтобы Закавказье одѣвалось исключительно въ русскія сукна и ситцы. Тривіальное на первый взглядъ, столкновеніе таило въ себѣ

зерно великаго историческаго спора: народившійся и на Руси промышленный капиталъ требовалъ совсѣмъ иныхъ „мѣръ покровительства“, чѣмъ его старшій братъ. Николаю Павловичу уже пришлось приспособляться къ новымъ экономическимъ условіямъ—и на этой задачѣ его политика потерпѣла катастрофу, явившуюся грознымъ предзнаменованіемъ будущей судьбы царизма.

## VI.

### Старая Россія и революція.

Пока сила была въ рукахъ царизма, русская исторія не смѣла даже произнести слово „революція“. Для русской революціи былъ установленъ обязательный официальный маскарадъ: мы знали ее подъ именемъ „общественнаго движенія“. Это, впрочемъ, имѣло свою хорошую сторону — юношество привыкало думать, что у насъ всякое общественное движеніе направлено къ низверженію самодержавія. Въ дѣйствительности, революція въ Россіи такъ же стара, какъ само русское государство. Первой же кievской династіи, потомству Св. Владиміра, и всего въ третьемъ поколѣніи, пришлось имѣть съ нею дѣло. Въ 1068 г. население „матери городовъ русскихъ“, Кіева, низвергло своего „законнаго“ государя, князя Изяслава Ярославича, бездарнаго и жестокаго, и посадило на его мѣсто представителя совсѣмъ чужой, полоужской династіи. А менѣе 50 лѣтъ спустя, въ 1113 г., Кіевъ былъ театромъ новой революціи, уже не только политической, но и социальной, говоря по теперешнему — возстанія мелкой городской буржуазіи и крестьянства, опутанныхъ тенетами ростовщическаго капитализма. Въ то время, какъ самая ранняя революціонная попытка — поводъ къ которой такъ близокъ и понятенъ живущему поколѣнію: она разыгралась на грозномъ фонѣ надвигавшагося половецкаго нашествія, съ которымъ внуки Владиміра не умѣли справиться — кончилась неудачно, вторая кievская революція оставила яркій слѣдъ въ русскомъ правѣ, въ видѣ такъ называемой „Мономаховой правды“, изданнаго Владиміромъ Мономахомъ долговаго устава, по крайней мѣрѣ на бумагѣ значительно улучшавшаго положеніе закабаленной массы. Не лишена интереса и третья революціонная вспышка до-монгольской Руси, владимірское возстаніе 1175 года, — не лишена потому, что она связана съ первымъ въ русской исторіи „цареубійствомъ“: сигналомъ къ возстанію было умерщвленіе Андрея Боголюбскаго его дружинниками. Горожане только и ждали этого сигнала, чтобы начать избивать княжескую администрацію, посадниковъ и тиуновъ — по нынѣшнему исправниковъ и земскихъ начальниковъ — съ ихъ „дѣтскими“ и „мечниками“ — урядниками и стражниками.

Мы напомнили объ этихъ красныхъ отблескахъ сѣдой старины не потому, конечно, чтобы кievско-суздальскія — или, еще болѣе интересныя, новгородскія — городскія революціи имѣли какую-нибудь связь съ современнымъ намъ революціоннымъ движеніемъ. Намъ хотѣлось только рельефнѣе показать, что вопреки официальному лицемѣрію, прививавшемуся всѣмъ намъ въ школѣ, идея возстанія противъ власти вовсе не есть заносная идея, навѣянная намъ глетворнымъ западомъ — что, напротивъ, эта идея какъ нельзя болѣе „національна“. Нуженъ былъ двухвѣковой гнетъ татарщины, чтобы русскій человѣкъ присмирѣлъ — но опять-таки не до такой степени, какъ это обычно себя представляютъ. Уже середина 16-го вѣка — конецъ, юности Грознаго — отмѣчена московскимъ возстаніемъ большаго размаха, снова не оставшимся, по всей вѣроятности, безъ вліянія на законодательство ближайшихъ лѣтъ (такъ называемая „земская реформа Грознаго“). Когда Иванъ Васильевичъ, пятнадцать лѣтъ спустя, позвалъ московскій посадъ на помощь противъ боярства, это отнюдь не было только театральнымъ эффектомъ: это было обращеніе къ реальной силѣ, которая могла стать за опричнину, могла стать и противъ нея. Пятьдесятъ лѣтъ спустя „предвѣстники“ разрослись въ гигантскую бурю Смутнаго времени. Это была не только уже настоящая революція; это была, въ извѣстномъ смыслѣ, великая революція — русская параллель „великой крестьянской войны“ въ Германіи въ началѣ 16-го вѣка. Но, какъ и всѣ ея предшественницы, наша Смута была направлена не противъ политическаго принципа, а противъ социального факта. И этотъ социальный фактъ — крѣпостное право — она надѣялась устранить именно при помощи стараго политическаго принципа: возведеннаго въ идеалъ царизма. Полтора столѣтія спустя наша крестьянская идеологія не ушла ни на пядь дальше: новое возстаніе противъ обострившейся, интенсифицированной крѣпостной неволи пошло опять подъ знаменемъ „государя Петра Федоровича“. Тутъ приходится только снова подчеркнуть лицемѣріе официальной традиціи, ни

на минуту не соглашавшейся допустить, чтобы „бѣглый козакъ Емельянъ Пугачевъ“ могъ быть серьезнымъ соперникомъ Екатерины „Великой“. Эта послѣдняя и ея приближенные были въ данномъ вопросѣ большими реалистами. Когда въ Петербургѣ возникла мысль — разстричь всѣхъ священниковъ, приставшихъ къ пугачевскому движению, главный усмиритель пугачевщины, П. И. Панинъ, писалъ Екатеринѣ: „На сей чинъ смѣю я вашему императорскому



Императорскому  
Управлению  
Почт. Д. П. Панинъ

Печать и подпись Пугачева.

величеству представить: въ тѣхъ здѣсь мѣстахъ, гдѣ злодѣй самъ проходилъ, и въ которыя входили большіе его отряды, не было изъ духовенства почти ни одного человѣка, изъ неслужившихъ быть тогда въ отлучкѣ, который бы не встрѣчалъ злодѣя съ крестами, и не дѣлалъ бы служенія съ произношеніемъ самозванца“. Екатерина согласилась съ доводами Панина — не разстригать же было духовенство нѣсколькихъ губерній...

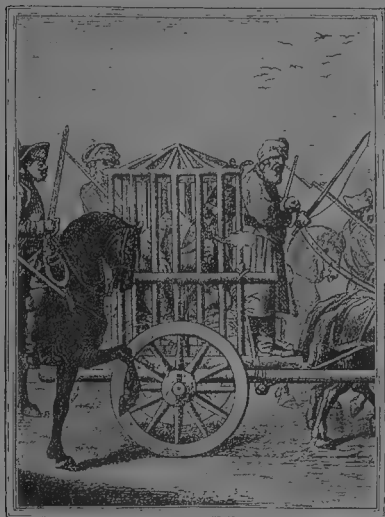
## VII.

### Крѣпостническая реакція и дворянская революція; „дворянская буржуазія“ въ политикѣ.

Пугачевщина, сама по себѣ, ничего не внесла въ развитіе революціонной идеи въ Россіи — но ея отраженіемъ дѣйствіемъ объясняется первое обостреніе оппозиціонныхъ настроеній въ верхнихъ слояхъ русскаго общества. Неудавшаяся крестьянская революція дала первый толчекъ, пробудившій революцію дворянскую. Въ первую половину екатерининскаго царствованія дворянинъ былъ либераломъ — но революціонности въ немъ не было еще и слѣда. Чувствуя себя хозяиномъ положенія, занявъ російскій тронъ человѣкомъ по своему выбору, что могъ онъ имѣть принципиально противъ этого трона? Бѣглый донской козакъ показалъ ему опасность съ той стороны, откуда дворянинъ уже отвыкъ ее видѣть. Достаиваніе дворянской монархіи по планамъ Монтескье пришлось бросить — наскоро смѣнивъ систему дворянскихъ привилегій голой полицейской диктатурой, внѣдрившей „порядокъ“ цѣной всеобщаго порабожденія — всеобщаго, не исключая и самого помѣщика. Хозяиничанье екатерининскихъ фаворитовъ, начиная съ Потемкина, и продолжая Зубовымъ, отражало именно этотъ социальный фактъ: дальнѣйшимъ его отраженіемъ былъ Павелъ Петровичъ — его не могла перенести уже и дворянская масса. Но индивидуальныя протесты противъ системы, покупавшей безпрепятственное продолженіе барщиннаго хозяйства цѣной закрѣпощенія административному произволу самого барина, начались гораздо раньше, чѣмъ гвардейское офицерство явилось „скопомъ“ въ спальню Павла I. Въ предсмертномъ стоиѣ Щербатова мы слышимъ голосъ стараго екатерининскаго „монаршизма“, пережившаго въ юности иллюзіи „коммисіи“ 1767 года. „Я охуюлю самый составъ нашего правительства, называя его совершенно самовластнымъ и такимъ, гдѣ хотя есть писанные законы, но они власти государевой и силъ вельможъ уступаютъ, гдѣ состояніе каждаго подданнаго основывается не на защищеніи законовъ, не отъ собственного



его поведения зависеть, но отъ мановенія злостнаго вельможи... Надлежало бы мнѣ теперь говорить о правительствахъ: но какъ у насъ по самому непомѣтному деспотичеству не законы дѣйствуютъ въ правительствахъ, но преклоненіе двора и воля вельможъ, то прежде и должно



*Пугачевъ, заключенный въ калѣтку, перевозится подъ стражей.*

о сихъ говорить... Если у стараго монархиста хватало силы только для „охуленія“ всего того, что поставило крестъ надъ идеалами его молодости, слѣдующее поколѣніе сумѣло сдѣлать изъ наблюдений надъ „непомѣрнымъ деспотичествомъ“ болѣе радикальные выводы. „Вольность“ показалась даромъ особенно „безцѣннымъ“ русскому образованному дворянину, когда онъ на себѣ испыталъ всѣ прелести „рабства“, и изъ подъ пера Радищева выходитъ грандіозная картина республиканской революціи, которая „на плаху возвела царя“. Екатеринѣ II было отъ чего возмутиться, читая оду „Вольность“—такъ не похожую на оды, къ которымъ ее приучилъ Державинъ. То, о чемъ писалъ Радищевъ, и въ революціонной Франціи стало мыслимо только черезъ три года: ранній русскій республиканизмъ отнюдь не былъ копіей французскаго якобинства. Но тѣмъ болѣе зловѣщимъ предназначеніемъ былъ онъ для самодержавія — прошло одиннадцать лѣтъ, и царь, думавшій идти дальше по проторенной колѣѣ, погибъ, правда, не на плахѣ, а въ петлѣ, сдѣланной изъ офицерскаго шарфа, не публично, а „при закрытыхъ дверяхъ“. Но было ли отъ этого легче? Царей убивали и раньше—но предлогомъ всегда было то, что они являлись недостойнымъ воплощеніемъ монархическаго начала: Названный Димитрій былъ еретикъ, Петръ III самъ отказался отъ короны раньше, чѣмъ умереть „отъ коликъ“. Въ лицѣ Павла впервые убили „деспота“: „ненависть къ тирану должна брать верхъ надъ всѣми чувствами и всякое средство хорошо, чтобы сломить этотъ бичъ“, записала одинъ современникъ трагедіи 11 марта 1801 г., вспоминая ее черезъ тридцать лѣтъ. И впервые по поводу дворцоваго переворота было произнесено въ Россіи слово „революція“—произнесена не кѣмъ другимъ, какъ самой русской императрицей, женой Александра I. Подъ царизмомъ что-то треснуло..

Пока, это были только настроенія, родственныя, если хотите, настроеніямъ крѣпостной дворни, убившей жестокаго барина. Если бы среди этой дворни нашлись люди европейскаго образованія, быть можетъ, они даже говорили бы тѣмъ же языкомъ. Возможность такихъ настроеній была моральнымъ осужденіемъ системы: но, какъ объективный фактъ, система могла прожить еще неопредѣленно долгое время. Если что позволяло считать ея дни — хотя длинень былъ счетъ!—то это, нечувствительныя для современныхъ наблюдателей, не исключая и самихъ русскихъ республиканцевъ, измѣненія въ томъ экономическомъ базисѣ, на которомъ стоялъ царизмъ. Эти измѣненія вышли наружу—но и то въ видѣ мало замѣтныхъ ростковъ—только четверть столѣтія позже 11 марта. Давно установлено, что идеологія декабристовъ была буржуазной идеологіей—новостями были, скорѣе, тѣ дворянскія черты, которыя оказались въ эту идеологію вкрапленными. Еще новѣе были тѣ указанія на непосредственное участіе самой буржуазіи въ



*А. Н. Радищевъ.*

движеніи, приведемъ къ 14 декабря, какія, по крохамъ, все-таки можно было собрать въ источникахъ. Близкія связи Рылѣва съ Россійско-Американской компаніей, русской пародіей на знаменитую Остъ-Индскую компанію, такъ же, какъ и собственное издательское предпринимательство Рылѣва, давно всѣмъ извѣстны.



Пять казненныхъ декабристовъ.  
Съ перваго листа изданія Гепиена „Полярная Звезда“ 1861 г.

Ближе еще къ купечеству стояли Батеньковъ и Штейнгель: первый удивлялъ своихъ товарищей желаніемъ стать петербургскимъ „лордомъ-майоромъ“, второй по прямому порученію московскихъ фабрикантовъ составлялъ докладныя записки для Аракчеева. Характернѣе, что даже у членовъ тайныхъ обществъ гораздо тѣснѣ связанныхъ съ дворянствомъ, чѣмъ съ „купечествомъ“, прорываются тѣ же нотки. А. Бестужевъ, мечтавшій о томъ, что онъ не хуже Орловыхъ, возведшихъ на престолъ Екатерину—и что отчего бы и ему не попасть въ „правительную аристократію“, писалъ изъ крѣпости Николаю: „шаткость тарифа“ привела въ нищету многихъ фабрикантовъ, испугала другихъ и вывела правительство наше изъ вѣры равно у своихъ, какъ и у чужихъ негодіантовъ“. А, казалось бы, дворяне всю русскую исторію только и заботились о томъ, чтобы тарифъ былъ пониже! И эта „шаткость тарифа“ является лучшимъ комментариемъ къ тѣмъ толкамъ купцовъ петербургскаго гостиннаго двора о конституціи, которые доводились до свѣдѣнія еще Александра Павловича, въ 1821 году. „На что нуженъ государь, который совершенно не любитъ своего народа, который только путешествуетъ и на это тратитъ огром-

ныя суммы?“, дерзали, будто бы, спрашивать эти купцы. Отсюда былъ одинъ шагъ до вопроса: а на что нуженъ государь вообще?

## VIII.

### Торговый капиталъ и крупная промышленность.

Слова питерскихъ гостиннодворцевъ кажутся вопіющей несправедливостью—царизмъ, мы видѣли, только и дѣлалъ, что обслуживалъ интересы купечества. Но, очевидно, теперь онъ служилъ имъ плохо. Правда, послѣ тильзитскаго униженія, у царизма была минута слабости: онъ предалъ русскій торговый капитализмъ континентальной блокадѣ. Но скоро онъ стряхнулъ съ себя очарованіе: въ срединѣ 1807 года былъ заключенъ тильзитскій трактатъ, а въ концѣ 1810 г. Александръ былъ уже готовъ воевать со своимъ тильзитскимъ другомъ; въ 1811 онъ уже снова, вполне определенно, союзникъ Англіи. А еще два года спустя, континентальная блокада лежала во прахѣ, вмѣстѣ съ ея авторомъ. Казалось бы, царизмъ „исправился“ достаточно радикально. И вотъ, вы съ удивленіемъ видите, что „купечество“ не чувствовало ни малѣйшей благодарности къ Александру за все, имъ сдѣланное на пользу „свободы торговли“. Наоборотъ: съ теплымъ чувствомъ вспоминаютъ—континентальную блокаду. „Не только многие богатые коммерсанты и дворяне, но изъ разнаго состоянія люди приступили къ устройству фабрикъ и заводовъ разнаго рода, не щадя капиталовъ и

даже входя въ долги“, рассказывали о золотомъ вѣкѣ россійской промышленности фабриканты, подъ диктовку которыхъ писалъ Штейнгель. „Все оживилось внутри государства и вездѣ водворилась особенная дѣятельность... Звонкая монета явилась повсюду въ оборотѣ, земледѣльцы даже нуждались въ ассигнаціяхъ, въ московскихъ же рядахъ видны были груды золота, фабрики суконныя до того возвысились, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинскіе торговцы могли обходиться безъ выписки иностранныхъ суконъ. Ситцы и нанка стали не уступать отдѣлкою уже англійскимъ; сахаръ, фарфоръ, бронза, бумага, сургучъ доведены едва ли не до совершенства. Шапы давно уже стали требовать даже за границу. При такомъ усовершенствованіи русскихъ фабрикъ, въ Англіи едва ли не доходили до возмущенія отъ того, что рабочему народу нечего было дѣлать“. И конецъ этой счастливой эры положили—вы думаете, 1812 годъ и разореніе Москвы? Нѣтъ, тарифъ 1819 года, основанный на началахъ свободной торговли. „Россійское купечество съ сокрушеніемъ прочло въ одномъ изъ отечественныхъ журналовъ, что въ Лондонѣ по сему случаю даны были многія празднества“.

Александръ Павловичъ посѣдѣлъ и тутъ исправиться—въ 1823 году онъ снова ввелъ свирѣпо-запретительный тарифъ, объяснивъ своему другу, прусскому королю (прусская промышленность была больно затронута новымъ тарифомъ), что свобода торговли угрожала самому существованію россійскаго государства. Николай Павловичъ всю жизнь остался вѣренъ „покровительственной“ системѣ. Но протекціонизмомъ отнюдь не исчерпывались всѣ логическія послѣдствія превращенія россійскаго капитализма изъ торговаго въ промышленный. Торговый капитализмъ предполагалъ, какъ свой необходимый объектъ, работника несвободнаго, но владѣющаго средствами производства—промышленному былъ нуженъ свободный пролетарій. Для торговаго капитала внутренній рынокъ былъ мало интересенъ—его дѣло взять со страны столько сырья, сколько можно, взять какъ можно дешевле, и продать это сырье тамъ, гдѣ за него платятъ дорого. Для только что народившейся русской промышленности, какъ она ни хвасталась, что ея произведенія „давно уже стали требовать даже за границу“, въ первой линіи необходимъ былъ внутренній рынокъ, достаточно емкій, чтобы накопленіе шло съ быстротой, способной привлекать капиталы въ промышленность: если бы предпринимательская прибыль куца была выше прибыли фабриканта, кому пришла бы охота „устраивать фабрики и заводы, не щадя капиталовъ?“ Протекціонизмъ помогалъ тутъ отчасти, странная заграничнаго конкурента—но прежде всего нужно было имѣть, изъ за чего конкурировать, нуженъ былъ покупатель. И эти чисто экономическія послѣдствія превращенія съ первыхъ же шаговъ осложнились политическими. Свободный работникъ былъ очевидно нѣлпюстью въ крѣпостной странѣ. Торговый капиталъ, самъ первый хищникъ, былъ равнодушенъ къ хищническому хозяйству бюрократіи—ему было все равно, бѣднѣть или богатѣть населеніе, интересное для него лишь, какъ поставщикъ сырья; напротивъ, тѣмъ сильнѣе жмутъ это населеніе, тѣмъ больше сырья оно должно будетъ выбросить на рынокъ. Но что было дѣлать фабриканту съ населеніемъ, ободраннмъ до костей чиновниками? Злоупотребленія бюрократіи, на которыя съ философскимъ равнодушіемъ смотрѣлъ „купецъ“, стали очень тревожить промышленнаго капиталиста. А отъ критики злоупотребленій режима нетрудно было подняться и до критики его самого—и мы уже видѣли образчики такой критики. „Всѣ знаютъ, что уже давно въ судахъ совершаются вопіющія несправедливости, дѣла выигрываютъ тѣ, кто больше заплатитъ, а государь не обращаетъ на это вниманія“,—толковали петербургскіе гостиннодворцы въ 1821 году. „Нужно, чтобы онъ лучше оплачивалъ трудъ состоящихъ на государственной службѣ и поменѣе развѣзжалъ. Только конституція можетъ исправить все это“...

## IX.

### Промышленный капитализмъ и крѣпостное хозяйство.

Экономическій переворотъ подкапывалъ самый фундаментъ романовской имперіи—„механическія ткацкія заведенія“, какъ тогда называли текстильныя фабрики, несли съ собою гибель не только несчастному крѣпостному кустарю-ткачу, но и той царской власти, въ которой этотъ ткачъ продолжалъ еще видѣть олицетвореніе „правды божьей“. Но какъ ткачъ погибъ далеко не сразу, и въ остаткахъ своихъ до нашихъ дней, такъ медленно рушилось и самодержавіе—настолько медленно, что у очень просвѣщенныхъ и умныхъ наблюдателей, въ родѣ Герцена, могло получаться впечатлѣніе, будто царизмъ, ежели только захочетъ,

можесть даже выиграть отъ переворота. „Одна робость, неловкость, оторопѣлость правительства мѣшаютъ ему видѣть дорогу и оно пропускаетъ удивительное время“, писалъ Герценъ послѣ вступленія на престолъ Александра II. „Господи! чего нельзя сдѣлать этой весенней оттепелю послѣ николаевской зимы; какъ можно воспользоваться тѣмъ, что кровь въ жилахъ снова оттаяла, и сжатое сердце стукнуло вольнѣе!“ „Только идучи впередъ къ дѣламъ дѣйствительнымъ, только способствуя больше и больше развитію народныхъ силъ при общечеловѣческомъ образованіи, и можесть держаться императорство.“ А послѣ 19 февраля иллюзія стала такъ заразительна, что ей, на секунду, поддался даже Бакунинъ. „Рѣдко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль“, писалъ онъ въ 1862 году.



А. И. Герценъ.

„Александръ II могъ бы такъ легко сдѣлаться народнымъ кумиромъ, первымъ русскимъ царемъ, могучимъ не страхомъ и не гнуснымъ насиліемъ, но любовью, свободой, благоденствіемъ своего народа. Опираясь на этотъ народъ, онъ могъ бы стать спасителемъ и главою всего славянскаго міра... Онъ можесть еще и теперь...“ Если Бакунинъ въ этомъ все же сомнѣвается, то лишь потому, что онъ „отчаялся“ въ способности Александра Николаевича къ такому шагу: что царизмъ не можетъ пойти этимъ путемъ, каковы бы ни были способности его наличнаго представителя, этого и Бакунину, въ тотъ моментъ, не пришло въ голову.

То, что Герцену и Бакунину казалось дѣломъ личной способности, въ дѣйствительности было вопросомъ экономической логики—и дѣловые люди весьма просто и легко дѣлали необходимый логическій выводъ, отъ правляясь не отъ теоріи, она имъ была чужда, а отъ своихъ непосредственныхъ, житейскихъ наблюдений. Эти житейскія наблюденія показывали имъ прежде всего, что промышленный капитализмъ совершенно несовмѣстимъ съ крѣпостнымъ работникомъ. „Какъ духомъ

временій измѣнилось фабричное производство, введенъ на оныхъ (фабрикахъ) механизмъ, замѣняющій ручныя работы“, писали министру финансовъ купцы Хлѣбниковы въ 1846 г. „То и производство на фабрикахъ работъ посессионными людьми (т.-е. крѣпостными, приписанными къ фабрикамъ, работниками) не только неудобно, но и наноситъ постоянно важныя убытки, да и самыя при нихъ посессионныя люди сдѣлались уже излишними и обременительными для владѣльца“. Но если крѣпостной работникъ и машина другъ съ другомъ не совмѣщались, если нуженъ былъ вольнонаемный работникъ, то сейчасъ же являлся вопросъ, откуда же его достать въ сплошь крѣпостной странѣ? На это отвѣтилъ лучше всего тотъ изъ дѣятелей крестьянской реформы, въ комъ буржуазный ея аспектъ отразился съ особенной яркостью. „Богатые никогда“, я полагаю, не бываютъ обремененіемъ обществу, оно черезъ нихъ получаетъ вышнюю силу“ возражалъ кн. Черкасскій членамъ редакціонныхъ комиссій, опасавшимся возникновенія у насъ сельской буржуазіи. „Богатаго, если вы сошлете въ Ботани-Бей, онъ все таки будетъ заправлять вами. Ротшильдъ—все Ротшильдъ, гдѣ бы онъ ни былъ. Надо поощрять образованіе капитала. Онъ двигатель всего, онъ рычагъ всякой производительности“. За три года передъ этимъ, онъ и формулировалъ лучше всего значеніе освобожденія крестьянъ, (тогда, въ 1856 г., только проектировавшагося) для русской промышленности: „Везъ значительной массы зрѣлаго, дѣятельнаго, свободнаго населенія, способнаго передвигаться туда, куда зоветъ его голосъ развивающейся промышленности, мануфактурной и земледѣльческой, не будетъ никогда въ Россіи фабрикъ, способныхъ состязаться съ Европой и удовлетворять отечественнымъ нуждамъ въ случаѣ разрыва съ Западомъ... Въ настоящее время вольный



трудъ въ Россіи вмѣстѣ и дорогъ до крайности и крайне скуденъ по количественности предложенія своего. Последнее ясно доказывается тѣми невѣроятными усиліями, которыхъ стоитъ привлеченіе къ себѣ рабочихъ рукъ каждому, вновь учреждаемому на коммерческой ногѣ производству фабричному и сельскохозяйственному, и который вполне оцѣнить способенъ лишь челоѣкъ, самъ испытавшій и прошедшій черезъ этотъ мучительный опытъ. Дороговизна же труда... кромѣ другихъ доводовъ, можетъ быть ясно доказана и тѣмъ замѣчательнымъ явленіемъ, исключительно принадлежащимъ Россіи и нигдѣ въ иныхъ земляхъ не повторяющимся, что у насъ нѣсколько сословій, лишенныхъ всякой собственности, живя единственно трудомъ голыхъ рукъ своихъ, въ состояніи этимъ путемъ не только прокормить себя, но еще сверхъ того уплачивать съ труда своего огромный прямой налогъ, какого нигдѣ не видано. Мы говоримъ о дворовыхъ людяхъ, по паспортамъ живущихъ, о мѣщанахъ и цеховыхъ. Слишкомъ извѣстны огромные оброки, платимые первыми господамъ своимъ... Буржуазное хозяйство оказывалось прямымъ данникомъ крѣпостного: гдѣ капитализмъ могъ бы это стерпѣть?

Для того, чтобы развязать этотъ узелъ, революціи не понадобилось: мы нарочно пропустили тѣ строки, гдѣ Черкасскій доказываетъ несовмѣстимость и сельскохозяйственнаго капитализма съ крѣпостнымъ правомъ. Въ его ликвидаціи были одинаково заинтересованы и прогрессивное дворянство, и вновь народившаяся промышленная буржуазія. Соглашеніе было возможно—и оно состоялось: развитіе Россіи пошло по прусскому типу, сотрудничества юнкера и фабриканта, а не по французскому, гдѣ буржуа уничтожилъ дворянина. И это потому, что нашъ дворянинъ, какъ и прусскій, былъ, или стремился быть, хозяиномъ—онъ не былъ, какъ французскій землевладѣлецъ передъ 1789 годомъ, только получателемъ ренты. Революціонность русской буржуазіи была этимъ сразу притуплена—въ дворянскомъ правительствѣ она видѣла не врага, но союзника: союзникъ этотъ въ извѣстный моментъ могъ оказаться ненужнымъ и даже компрометирующимъ, ему тогда можно было измѣнить,—но этого было долго ждать, моментъ наступилъ лишь въ 1917 году, и во всякомъ случаѣ, съ союзникомъ не борются, даже если его и подумываютъ бросить. Положеніе было такъ выпукло охарактеризовано еще въ 1870-хъ годахъ, Михайловскимъ, что его слова всегда придется напоминать тѣмъ, кто въ царизмъ конца 19-го вѣка не захотѣли бы видѣть ничего другого, кромѣ простого продолженія патріархальной деспотіи. „Вы боитесь конституціоннаго режима въ будущемъ, потому что онъ принесетъ съ собою ненавистное иго буржуазіи“, говорилъ народолюбцамъ авторъ „Политическихъ писемъ социалиста“: „оглянитесь: это иго уже лежитъ надъ Россіей въ царствованіе благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго императора божіей милостію... Россія только покрыта горностаевой царской порфирой, подъ которою происходитъ кипучая работа набиванія бездонныхъ частныхъ кармановъ жадными частными руками. Сорвите эту, когда то пышную, а теперь изъѣденную молью, порфиру, вы найдете вполне готовую, дѣятельную буржуазію. Она не отлилась въ самостоятельныя политическія формы, она прячется въ складкахъ царской порфиры, но только потому, что ей такъ удобнѣе исполнять свою историческую миссію расхищенія народнаго достоянія и присвоенія народнаго труда“.



Кн. В. А. Черкасскій.

## Х.

### Буржуазія, революція и пролетаріатъ.

Но если русская буржуазія не могла взять на себя революціонной миссіи, — другими словами, если ей было выгоднѣе чинить ветшавшій царизмъ, нежели разрушать его,—то тѣмъ настойчивѣе задача разрушенія становилась передъ другимъ классомъ, который на западѣ Европы шелъ за буржуазіей по дорогѣ революціи, и которому у насъ пришлось идти впе-

реди нея. Характерно, что, отнюдь не питая никаких черных мыслей насчет буржуазии, ласково давая ей лобызать свою августейшую руку — к которой буржуазные уста тотчас же жадно принимали, — царизм сразу начал подозрительно коситься на неизбъжнаго спутника фабриканта, фабричнаго рабочаго. Изъ всѣхъ силъ насаждая въ Россіи крупную индустрію, министры Николая I изъ всѣхъ же силъ должны были увѣрять себя, что отъ этого въ Россіи не народится пролетаріатъ. „Въ Россіи фабричные и другіе работники приходятъ изъ селеній“, писалъ Канкринъ: „что, между прочимъ, имѣетъ то величайшее достоинство, что препятствуетъ чрезмѣрному умноженію городскаго фабричнаго сословія, которое при застоѣ въ работахъ впадаетъ въ нищету. Крестьянинъ въ такомъ случаѣ возвращается въ деревню и, если даже ничего не выработалъ и не уплатилъ податей, то имѣетъ, по крайней мѣрѣ, кровъ и ежедневную пищу: фабричное сословіе не соединяется, чтобы вынудить увеличеніе платы. Оставленія работы, смятенія не улучшаютъ состоянія работниковъ фабричныхъ и еще менѣе ограждаютъ ихъ отъ несчастнаго состоянія: такіе безпорядки весьма обезпокоиваютъ жизнь общественную, а всего опаснѣе то, что невозможно предвидѣть, какъ далеко можетъ зайти



Шлиссельбург.  
(Общій видъ).

въ своемъ озлобленіи такой народъ при подобныхъ обстоятельствахъ“. Голоса лидеровъ буржуазии сливались здѣсь въ дружный хоръ съ голосами слугъ самодержавія: отстаивая освобожденіе крестьянъ неперемѣнно съ землей, Кавелинъ особенно подчеркивалъ, что „этими мы навсегда избавляемся отъ голоднаго пролетаріата и неразрывно съ нимъ связанныхъ мечтательныхъ теорій имущественнаго равенства, отъ непримиримой зависти и ненависти къ высшимъ классамъ и отъ послѣдняго ихъ результата — социальной революціи“. Это было почти дословное воспроизведеніе аргументаціи самихъ „редакціонныхъ комиссій“ — т. е. Николая Милютина и его товарищей, писавшихъ, что „коалиція работниковъ, коллективная оппозиція противъ капиталистовъ и властей, со всѣми ихъ послѣдствіями... развились почти исключительно въ тѣхъ сословіяхъ, въ которыхъ распущенныя личности, не связанныя никакимъ общимъ поземельнымъ интересомъ и предоставленныя самимъ себѣ, сознали свою единичную слабость и сложились въ искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку“. И послѣдовательнымъ „буржуа“, вроде кн. Черкасскаго, приходилось уже доказывать, что небольшой пролетаріатъ для Россіи будетъ ничуть не опасенъ, а только полезенъ. Черкасскій (въ 1856 г.) предлагалъ освобождать крестьянъ не даромъ, а за высокій выкупъ, настолько высокій, что за 10 лѣтъ, по

его вычислениям, могло бы освободиться не более 2 миллионов душ: при еще менее многочисленном „рабочем“ сословии капиталистическое хозяйство вовсе не могло бы идти.

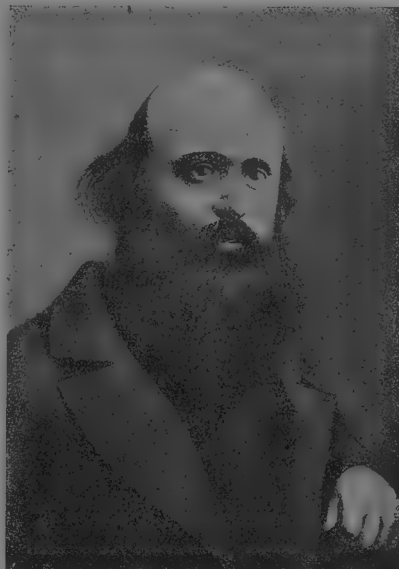
Русских революционеров часто упрекали—и упрекают—что они живут завтрашним



К. Д. Кавелин.

числом, не умья ограничить себя реальностями настоящего дня. Как видим, их социальные противники (и изъ самых „трезвых“ и „солидных“!) показывали имъ, въ этомъ отношеніи, путь. Какая, казалось бы, могла быть опасность социальной революции въ Россіи въ 1861 году? А ея, этой опасностью, по крайней мѣрѣ отчасти, опредѣлились „ходъ и исходъ крестьянской реформы“—освобожденіе непременно съ надѣломъ, хотя бы и кошачьимъ. Между тѣмъ, революционеров-социалистовъ тогда еще почти и не было на сценѣ. Программа декабристовъ,—если откинуть въ сторону освобожденіе крестьянъ, въ которомъ никакого социализма тоже, разумѣется, усмотрѣть было нельзя, въ какой микроскопъ ни смотри,—эта программа была чисто политической. То была ликвидація самодержавія, доходившая у болѣе лѣвыхъ до ликвидаціи монархіи вообще; но, за исключеніемъ Пестеля, даже сословное общество оставалось на своемъ мѣстѣ. Помѣщики все-таки получали вдвое болѣе политическихъ правъ, чѣмъ не-помѣщики (для владѣльцевъ движимаго имущества конституція Н. Муравьева устанавливала, какъ из-

вѣстно, двойной цензъ), а крестьяне—въ пятьсотъ разъ меньше, чѣмъ „господа“. Одинъ Пестель проектировалъ; дѣйствительно, демократію—но демократію чисто буржуазную, съ поощреніемъ буржуазнаго сельскаго хозяйства, на примѣръ: на него отводилась половина национализованной земли. Найти что либо социалистическое даже у лѣвѣйшаго изъ декабристовъ столь же трудно, какъ что либо республиканское у Николая I. Успѣшнѣе, повидимому, должны бы были быть поиски у петрашевцевъ, такъ горячо пропагандировавшихъ своего Фурье. Но приглядитесь къ ихъ практической программѣ. „Самъ Буташевичъ-Петрашевскій преимущественно возбуждалъ вопросъ о перемѣнѣ судопроизводства и объ освобожденіи крестьянъ“, писалъ разбиравшій дѣло генералъ-аудиторіатъ. Кромѣ того, онъ хлопоталъ о реформѣ мѣстнаго самоуправления — съ привлеченіемъ къ нему такихъ лицъ, которыя „сравнительно съ другими, т.-е. съ массою населенія, могли бы быть названы умственной аристократіей“. Для всего этого, нужно прибавить, онъ и средства рекомендовалъ преимущественно легальныя. Но и сторонники самыхъ революціонныхъ средствъ изъ петрашевцевъ, Черносвитовъ и Спѣшневъ, предполагали пустить въ ходъ эти средства, опять таки, для освобожденія крестьянъ. А главное, никакихъ „рабочниковъ“, образующихъ „искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку“ и у петрашевцевъ днемъ съ огнемъ нельзя было бы разыскать. „Умственная аристократія“ русскихъ уѣздныхъ и губернскихъ городовъ заключала въ себѣ, по Петрашевскому, „кромѣ купцовъ“, „еще учителей училищъ, докторовъ, аптекарей, поповъ,



М. В. Буташевич-Петрашевскій.

отставныхъ небогатыхъ чиновниковъ": словомъ, тотъ классъ общества, который марксисты впоследствии окрестили „мелкобуржуазной интеллигенціей". Изъ этого же класса рекрутировались и сами заговорщики, среди которыхъ, по донесеніямъ николаевскихъ шпионовъ, рядомъ „съ гвардейскими офицерами и съ чиновниками министерства иностранныхъ дѣлъ" находились „не кончившіе курса студенты, мелкіе художники, купцы, мѣщане, даже лавочники, торгующіе табакомъ". Какъ видимъ, терминъ „мелкая буржуазія" сюда еще больше подходитъ, чѣмъ къ „умственной аристократіи" самого Петрашевскаго.

## XI.

### Революція и разночинная интеллигенція.

Такое пониженіе въ чинѣ россійской революціи — среди декабристовъ было много гвардейскихъ офицеровъ, но ни одного „лавочника, торгующаго табакомъ" — сильно смутило слугъ императора Николая. Ихъ должна бы была успокоить другая черта „заговора Петрашевскаго" (что никакого заговора не было, соглашался даже генералъ-аудиторіатъ): съ демократизаціей социальнаго состава „заговорщиковъ" понижался и тонъ ихъ политическихъ требованій.



Н. Г. Чернышевскій.

Дворянскіе революціонеры первой четверти столѣтія не хотѣли успокоиться наименьшимъ, чѣмъ „республика, сверху прикрытая императорской короной": сохранить въ рукахъ императора дѣйствительную власть никому изъ нихъ не приходило въ голову. Революціонные разночинцы середины вѣка не доходили даже до настоящей конституціи: реформы 60-хъ годовъ осуществили три четверти ихъ „платформы". А когда это осуществленіе стало фактомъ, политика изъ программъ русской революціи вовсе исчезла почти на двадцать лѣтъ. На другой день послѣ крестьянской реформы о конституціи толковали въ легальныхъ дворянскихъ собраніяхъ, да въ полуполегалныхъ кружкахъ, ютившихся около „Современника" — лидеромъ которыхъ былъ Чернышевскій, и откуда вышла „Великорусь". Наибольшую революціонность полиція Александра II признавала за „лондонскими пропагандистами", съ Герценомъ во главѣ — но это едва ли не было результатомъ консервативности, свойственной всегда такому мало-прогрессивному учрежденію, какъ политическая полиція. Ибо и Герценъ съ товарищами едва ли не помирились бы на дарованной свыше конституціи.

умѣреннѣйшаго типа: вышедшій изъ этихъ круговъ проектъ Серно-Соловьевича почти сполна былъ осуществленъ въ 1906 году — и какъ мало оказались этимъ довольны вѣчно неблагодарные россияне! А когда изъ среды людей, стоявшихъ внѣ „политическаго общества", много ниже тѣхъ, съ кѣмъ „стоило" считаться, послышалась хоть и крайне наивный, но дѣйствительно революціонный призывъ, — словомъ, когда появилась знаменитая прокламація Зайчневскаго „Молодая Россія", не только у Герцена ничего не нашлось для „юношей фанатиковъ", кромѣ слова порицанія, но и отъ Бакунина они должны были услышать суровый репримандъ. „Редакторовъ „Молодой Россіи" я упрекаю въ двухъ серьезныхъ преступленіяхъ: во-первыхъ, въ безумномъ, истинно доктринерскомъ пренебреженіи къ народу, а во-вторыхъ, въ нецеремонномъ, безтактномъ и легкомысленномъ обращеніи съ великимъ дѣломъ освобожденія"... Такъ встрѣтилъ будущій отецъ европейскаго анархизма программу, гдѣ самыми радикальными требованіями были: прогрессивный подоходный налогъ, замѣна постоянной арміи милиціей, полное и безусловное равноправіе женщинъ. Правда, осуществить все это предполагалось открыто-революціоннымъ путемъ (для такихъ требованій трудно было придумать легальные пути осуществленія) — и вмѣсто царской доброты, на которой ба-



зировались, болѣе или мѣнѣе, чаянія всѣхъ конституціоналистовъ тѣхъ дней, былъ брошенъ, такъ странно звучащій въ ушахъ внуковъ Пестеля, лозунгъ республики. Правда и то, что изложено все это было въ чрезвычайно „гимназической“ формѣ. Но тѣмъ страннѣе ужась передъ „Молодой Россіей“ буржуазныхъ круговъ—ужась настолько паническій, что онъ заставилъ считаться съ собою даже и такого, не легко пугавшагося, человека, какъ Бакунинъ. Последний едва ли улавливалъ настоящую подкладку этой паники: съ даризмомъ только что былъ заключенъ койкордаты — напоминаніе о необходимости убить чудовище въ эту минуту звучало, какъ похоронный звонъ среди веселаго свадебнаго пира. Сердились не столько на „радикализмъ“, сколько на „безтактность“: что бы подождать минутку?

Со времени „Молодой Россіи“ у насъ можно говорить о революціонномъ социализмѣ. Онъ былъ на лицо — и скоро засвидѣтельствовалъ себя поступками: покушеніе Каракозова на Александра II, 4 апрѣля 1866 года, надолго осталось типомъ революціонной борьбы въ Россіи. И тѣмъ не менѣе, вопреки всеобщимъ мрачнымъ предвидѣніямъ, и николаевскихъ министровъ, и буржуазной публицистики, и „честнаго кузнеца гражданина“ и съ его друзьями—никакихъ слѣдовъ ужаснаго „рабочаго сословія“ въ революціонно-соціалистическихъ выступленіяхъ найти было нельзя. Революція продолжала держаться въ томъ кругу, куда ее перенесли петрашевцы—только помолодѣла: тамъ были „учителя, доктора, попы, отставные небогатые чиновники“, здѣсь „сыновья мелкихъ помѣщиковъ, чиновниковъ священниковъ“ (воспоминанія Дебагорія-Мокріевича о кievскомъ студенческомъ движеніи конца 60-хъ годовъ). Студенчество на двадцать лѣтъ осталось той питательной средой, изъ которой набиралась соковъ русская революція: въ глубокихъ слояхъ народной массы до нашихъ дней „студентъ“ и „революціонеръ“—синонимы; монархически настроенные рабочіе передъ 9 января боялись, какъ-бы къ нимъ не пристали „студенты“, и не исказили затѣянной ими мирной върноподданнической манифестаціи — а крестьяне Воронежской губерніи еще въ іюнѣ 1906 года ждали „студентовъ съ пушкой“, чтобы про-

извести послѣднюю атаку на свѣдого помѣщика. Вся эта молодежь, своимъ образомъ жизни, была сплошнымъ отрицаніемъ „буржуазности“. „Мы были бѣдны и едва-едва перебивались, но въ то время студентъ почти гордился бѣдностью“ рассказываетъ тотъ же, выше цитированный нами, авторъ. „Бѣдность была нѣкоторымъ образомъ въ модѣ, составляла своего рода шикъ. Если у кого даже и имѣлись средства, то это не показывалось, такъ какъ на это смотрѣли не хорошо“. Студенты московскаго университета начала 60-хъ годовъ — непосредственные современники „Молодой Россіи“ — нерѣдко приходили держать экзаменъ пѣшкомъ „изъ отдаленныхъ губерній“; въ частности, „большинство поляковъ и уроженцевъ западныхъ губерній въ московскомъ университетѣ отличались крайней бѣдностью“ (Ешевскій). Конецъ періода не отличался, въ этомъ случаѣ, отъ начала: Г. В. Плехановъ, ведшій революціонную пропаганду среди петербургскихъ рабочихъ 70-хъ годовъ, „съ удивленіемъ увидѣлъ, что эти рабочіе живутъ нисколько не хуже, а многіе изъ нихъ даже гораздо лучше, чѣмъ студенты... Холостые,



М. А. Бакунинъ

а они составляли между знакомыми мнѣ рабочими большинство, могли расходовать вдвое больше небогатаго студента... Всѣ рабочіе этого слоя одѣвались несравненно лучше, а главное, опрятнѣе, чище нашего брата студента". Но быть бѣднѣе иного пролетарія еще не значить быть пролетаріемъ самому: къ пролетариату, какъ социально-экономической категоріи, даже бѣднѣйшіе изъ русскихъ студентовъ 60-хъ—70-хъ годовъ все-таки не принадлежали. Это были типичные интеллигенты, то есть, прежде всего, типичные одиночки. Когда А. Д. Михайловъ прочелъ своимъ товарищамъ, землевольцамъ, составленный имъ проектъ устава тайнаго общества, требовавшій, между прочимъ, безпрекословнаго подчиненія отдѣльнаго члена „распоряженіямъ большинства", этотъ параграфъ встрѣчилъ „не малую оппозицію", по словамъ современника-очевидца. А террористическій актъ, требовавшій максимальнаго личнаго героизма, оставался, весь этотъ періодъ, послѣднимъ революціоннымъ жестомъ, отъ котораго ждали рѣшенія судьбы Россіи. И эта вѣра въ то, что перемѣна лица можетъ что-то измѣнить въ порядкѣ, что борьба съ царизмомъ есть борьба съ царемъ,—что, убивъ царя, можно вызвать возстаніе противъ царизма, эта вѣра вновь заставляетъ насъ вспомнить петрашевцевъ, одинъ изъ которыхъ, съ полной искренностью, все, что было худого въ Россіи, даже голодъ витебскихъ крестьянъ, отнесилъ на счетъ личнаго вліянія императора Николая Павловича. „Какъ странно устроено свѣтъ, одинъ мерзкій человекъ, и сколько онъ можетъ дѣлать!"



П. Л. Лавровъ.

Для революціоннаго штаба такого социальнаго состава бакуинскій анархизмъ, которому даже образованіе временнаго революціоннаго правительства казалось уже „вырожденіемъ революціи", былъ наиболее подходящей идеологіей. Бакунинъ и оставался духовнымъ вождемъ революціоннаго движенія почти до самаго конца этого періода—Лавровъ былъ болѣе его теоретикомъ, нежели лидеромъ; „Историческія письма", правда, многихъ побудили „пойти въ народъ": но что дѣлать среди этого народа, учились по большей части не у Лаврова. И явно политическая цѣль всего движенія—оно несомнѣнно упиралось въ низверженіе самодержавія все время, сознавалось это его дѣятелями или нѣтъ: заявленіе (на судѣ) В. Н. Фигнеръ, что цѣлью народовольцевъ было „уничтоженіе абсолютистическаго образа правленія", въ сущности, одинаково приложимо и къ землевольцамъ, и къ „чайковцамъ", и къ нечаевцамъ, и къ каракозовцамъ, и къ тѣмъ студенческимъ кружкамъ, откуда вышла „Молодая Россія"—мирилась съ анархической идеологіей, потому что никакихъ другихъ средствъ борьбы, кромѣ анархическихъ выступленій, подъ руками не было. Русскому революціонеру временъ Александра II на практикѣ приходилось быть анархистомъ, если онъ не хотѣлъ быть революціонеромъ только на словахъ: въ чемъ злые языки и упрекали „лавристовъ", а позже „чернопередедьцевъ", противниковъ анархическаго метода дѣйствій. Въ тѣ времена модными были разговоры о „герояхъ и толпѣ": революціонеры 60-хъ—70 годовъ были героями безъ толпы,



Софія Львовна Перовская.

и это давало их героизмъ всякаго практическаго значенія. При другихъ условіяхъ, судьба такихъ исключительныхъ людей, какъ Желябовъ, Кибальчичъ или Перовская была бы, быть можетъ, не менѣе трагична: но это былъ бы трагизмъ судьбы Робеспьеровъ и Сент-Жюстовъ — гибель тѣхъ, у кого было великое „вчера“, а не тѣхъ, кому всю жизнь пришлось прожить „наканунъ“. И если прологъ великой русской революціи утонулъ въ предразсвѣтныхъ сумеркахъ, виною тутъ были не тѣ или другія „ошибки“, тѣхъ или другихъ „вождей“, а то, что этимъ вождямъ некого было за собою вести. Крестьянство на смерть разбило иллюзіи тѣхъ, кто жилъ революціоннымъ романтизмомъ разинщины и пугачевщины — не имѣя понятія о дѣйствительной ихъ идеологіи. Лишь годами горькаго опыта пропагандисты приходили къ выводу, не безъ жестокости къ самому себѣ резюмированному однимъ изъ нихъ. „Царизмъ являлся въ самой тѣсной связи съ земельнымъ идеаломъ крестьянъ. Свои желанія, свои понятія о справедливости крестьяне переносили на царя, какъ будто это были его желанія, его понятія“. И единственное массовое движеніе крестьянъ въ 70-хъ годахъ удалось вызвать, какъ извѣстно, только при помощи подложнаго царскаго манифеста (т. наз. Чигиринское дѣло). Подъ конецъ — этотъ именно конецъ и заставляетъ ограничивать бакунинское вліяніе въ террористическомъ періодѣ русской революціи словомъ „почти“ — даже буржуазія начинала ка-



Иванъ Иванъ. Кибальчичъ.

заться болѣе надежнымъ союзникомъ, чѣмъ крестьянство. Но какою цѣной приходилось покупать этотъ „союзъ“! Уже тотчасъ послѣ воронежскаго съѣзда 1879 года, едва возникла „Народная Воля“, Желябовъ рекомендовалъ товарищамъ не писать больше объ аграрномъ вопросѣ, „дабы не отпугивать либераловъ“. А весь социализмъ тогдашнихъ революціонеровъ былъ аграрнымъ... Слово „республика“ въ народовольческой программѣ, какъ извѣстно, вовсе обойдено, изъ тѣхъ же соображеній: черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ декабристовъ оно звучало въ буржуазныхъ ушахъ слишкомъ страшно. Но буржуазія этого было мало — и она стала уговаривать „Исполнительный Комитетъ“ отказаться еще и отъ террора, т. е. отъ единственнаго оружія революціонной борьбы, которое оставалось еще у революціонеровъ-интеллигентовъ. Причѣмъ въ замѣтъ ничего не предлагалось, повидимому. У народовольцевъ были связи между офицерствомъ. „Желябовъ завелъ обширныя знакомства съ профессорами артиллерійской академіи, разными техниками, офицерами разныхъ спеціальностей“, рассказываетъ о лидерѣ Народной Воли одинъ изъ его пріятелей. Существовалъ рядъ офицерскихъ кружковъ, стоявшихъ подъ народовольческимъ вліяніемъ: послѣ 1 марта 1881 г. — которое эту среду не оттолкнуло отъ „убійцъ“ Александра II — члены этихъ кружковъ оптимистической революціонной статистикой считались сотнями. Между ними были выдающіеся люди, какъ М. Ю. Ашенбреннеръ — но не нашлось ни одного, кто могъ бы предложить въ распоряженіе революціи не то, что полкъ, а хотя бы роту. Солдаты и тогда оставались крестьянами, одѣтыми въ мундиры. Всѣ эти военныя связи были, притомъ, пріобрѣтеніемъ самихъ народо-вольцевъ: буржуазія и тутъ имъ ничѣмъ не помогла. А читая интимныя, по секрету подававшіяся начальству, „записки“ тогдашнихъ буржуазныхъ либераловъ, правыхъ, какъ Чичеринъ — и даже не чрезухуръ правыхъ, какъ Градовскій — перестаешь даже понимать, чего больше хотѣли эти люди: упраздненія самодержавія или самоупраздненія революціи? Для Чичерина послѣднее, немѣнно, стояло на первомъ планѣ — и онъ готовъ былъ даже зачеркнуть „само“, предлагая для упраздненія революціи непосредственно либеральныя руки.



Мих. Юл. Ашенбреннеръ.

## Царизмъ и пролетариатъ.

А между тѣмъ, какъ разъ въ эти послѣдніе годы призракъ, смущавшій сонъ еще Канкрина, начиналъ воплощаться. Безсильные въ деревенской средѣ, революціонеры-интеллигенты встрѣчали совсѣмъ иной пріемъ среди тѣхъ крестьянъ, кого нужда загнала на фабрику. Уже „чайковцы“ начала 70-хъ годовъ имѣли кружки среди петербургскихъ ткачей — а пропаганда среди металлистовъ началась едва ли не еще ранѣе. Московскія пропагандистки (т. наз. „процесса 50“) работали надъ тѣмъ же матеріаломъ — съ неизмѣримо бѣльшимъ успѣхомъ, чѣмъ ихъ товарищи въ деревнѣ. Петербургскія стачки зимы 1877—78 гг. впервые поставили революціонную интеллигенцію лицомъ къ лицу съ массовымъ рабочимъ движеніемъ. Воспоминанія современниковъ сохранили любопытнѣйшія черты первыхъ встрѣчъ. Новые знакомые не безъ осторожности присматривались другъ къ другу — и первые шаги революціонной агитаціи въ рабочей массѣ Петербурга переносятъ насъ очень далеко не только отъ социалистическихъ или республикан-



Казнь убійцы Александра II.  
(Съ картины В. Верещагина).

скихъ, но даже отъ конституціонныхъ лозунговъ: на первыхъ порахъ не нашли ничего лучше, какъ посоветовать забастовавшимъ подать прошеніе наслѣднику... Пріемъ, быть можетъ, былъ и правильно разсчитанъ — на сѣрую массу, но петербургскіе рабочіе скоро сумѣли показать, что они не всѣ такіе „сѣрые“. Уже въ январѣ 1879 года на лицо была программа „Сѣвернаго Союза русскихъ рабочихъ“, считавшаго, правда, всего 200 членовъ — маленькій авангардъ даже для одного Петербурга: но за то этотъ авангардъ ушелъ чрезвычайно далеко отъ прошеній наслѣднику. Характерно, что выступить прямо противъ царизма и самые передовые рабочіе Россіи не рѣшились — а о Христѣ и апостолахъ нашли нужнымъ упомянуть. Но этимъ и ограничивается дань „традиціи“: дальше мы находимъ въ программѣ „Союза“ свободу слова, печати, собраній, сходокъ, передвиженія, отмѣну косвенныхъ налоговъ, замѣну постоянной арміи милиціей... Картина настолько „европейская“, что начинаешь понимать подозрѣнія читавшихъ — и опубликовавшихъ — ее революціонеровъ-интеллигентовъ: а подлинно ли все это писали настоящіе рабочіе? Правда, что рабочіе были, если и „настоящіе“; то не совсѣмъ обыкновенные: изъ двухъ лидеров „Союза“, Обнорскій бывалъ за границей, Халтуринъ скоро сдѣлался однимъ изъ выдающихся народовольцевъ. Между вчерашними „учениками“ и „учи-



Кровавое воскресенье.

(9 января 1905 г.).





телями“ загорѣлась даже полемика—объ этомъ придется еще говорить на страницахъ, специально посвященныхъ рабочему движению. Въ общемъ ходъ революціи главнымъ новшествомъ „Союза“ была идея массовой организаціи. „Союзъ“ ставилъ своею цѣлью „сплавивая



*Вера Ник. Физнеръ.*



*Тим. Мих. Михайловъ*

разрозненные силы городского и сельскаго рабочаго населенія и выясняя ему его собственные интересы, цѣли и стремленія, — служить достаточнымъ оплотомъ въ борьбѣ съ социальнымъ безправіемъ и давать ему ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успѣшнаго веденія борьбы“. Революціонная интеллигенція какъ разъ въ эту пору мучилась надъ вопросомъ: обязано меньшинство подчиняться большинству, или можетъ „отказаться“? Правда, и она была наканунѣ положительнаго рѣшенія этого вопроса — и народовольцы ввели у себя желѣзную дисциплину: но какъ тѣсенъ былъ кругъ лицъ, согласившихся подъ иго этой дисциплины пойти!

„Сѣверный Союзъ“ оказался ласточкой, прилетѣвшей слишкомъ рано и осужденной замерзнуть. Революціонные рабочіе кружки дали солдаты террористической, интеллигентской революціи: взорвавшій зимній дворецъ Халтуринъ и Тимофей Михайловъ, одинъ изъ участниковъ 1-го марта, оба погибшіе на царскихъ висѣлицахъ, были изъ первыхъ мучениковъ борьбы русскаго народа противъ царизма. Когда черносотенцы пытались втолковать массамъ, что Александръ II убили „господа“, они сознательно лгали. Но успѣхъ, хотя бы кратковременный, даже такой грубой поддѣлки подъ рабочее движение, какой была Зубатовщина, ясно показывалъ, насколько наивны были массы. Еще наканунѣ 9-го января рабочіе пугливо сторонились „господъ“—во образѣ социаль-демократовъ и социалистовъ-революционе-



*Шлиссельбургская крѣпость.  
Видъ двориковъ для одиночныхъ прогулокъ заключенныхъ.*

ровъ. Теперь, однако, и массу отдѣляла отъ революціи очень тонкая перегородка. Наканунѣ крестнаго хода къ зимнему дворцу, на одномъ собраніи, послѣ чтенія „петиціи“, председатель, рассказываетъ очевидецъ, задалъ рабочимъ вопросъ: „А что, товарищи, если государь насъ не приметъ и не захочетъ прочесть нашей петиціи—чѣмъ мы отвѣтимъ на это?—Тогда, точно изъ одной груди вырвался могучій потрясающій крикъ: нѣтъ тогда у насъ царя! И какъ эхо повторилось со всѣхъ концовъ: „нѣтъ царя... нѣтъ царя!“

На другой день вечеромъ, послѣ разстрѣла, „выступили ораторы изъ социаль-демократовъ“, рассказываетъ другой очевидецъ: „ихъ слушали теперь“...

*М. Покровскій*



Прив.-доц. В. М. ФРИЧЕ.



### Крушеніе „Народной Воли“.

Въ концѣ семидесятихъ годовъ для передовой интеллигенціи не подлежало ужь сомнѣнію, что ей не остается другого выхода, какъ вступить на путь политической борьбы, что прежде чѣмъ ей удастся осуществить социальный переворотъ, ей предстоитъ совершить революцію политическую.

Въ іюнѣ 1879 года собрался въ Липецкѣ съѣздъ членовъ социальнореволюціонной партіи, присвоившей себѣ названіе „Земля и Воля“ для обсужденія вопроса о цѣлесообразности и необходимости террористической борьбы съ самодержавіемъ, которую нѣкоторые члены партіи уже признавали и отстаивали если не на страницахъ офіціального органа, то на столбцахъ „Летучаго листка Земли и Воли“. Съѣздъ открылся небольшой рѣчью одного изъ лидеров террористической фракціи, Н. Морозова.

„Наблюдая современную общественную жизнь въ Россіи—говорилъ онъ—мы видимъ, что никакая дѣятельность, направленная на благо народа, въ ней невозможна вслѣдствіе царящаго въ ней правительственнаго произвола и насилія. Поэтому всякому передовому обществу дѣятелю необходимо, прежде всего, покончить съ существующимъ у насъ образомъ правленія, но бороться съ нимъ невозможно, иначе какъ съ оружіемъ въ рукахъ. Поэтому мы будемъ бороться по способу Вильгельма Телля до тѣхъ поръ, пока не достигнемъ такихъ свободныхъ порядковъ, при которыхъ можно будетъ безпрепятственно обсуждать въ печати и на общественныхъ собраніяхъ всѣ политическіе и социальныя вопросы и рѣшать ихъ посредствомъ свободныхъ народныхъ представителей“.

На съѣздѣ присутствовалъ въ качествѣ гостя не входившій въ организацію „Земля и Воля“ А. Желябовъ. Всецѣло присоединяясь къ выводамъ Н. Морозова, онъ замѣтилъ, что бороться за политическую свободу собственно дѣло буржуазіи, но такъ какъ она у насъ и слаба и нерѣшительна, то эту задачу должна взять на себя поневолѣ социальнореволюціонная партія <sup>1)</sup>. Закрылся съѣздъ рѣчью Александра Михайлова, прослѣдившаго шагъ за шагомъ всю эволюцію политики Александра II отъ либеральныхъ реформъ въ сторону все сгущавшейся реакціонности, одной изъ самыхъ сильныхъ рѣчей, когда-либо произнесенныхъ русскимъ революціонеромъ <sup>2)</sup>.

Въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ происходилъ пленарный съѣздъ партіи въ Воронежѣ.

Хотя терроръ и былъ признанъ участниками съѣзда лишь „средствомъ исключительнымъ“, когда на очередь былъ поставленъ вопросъ о поддержкѣ „лигъ цареубійцъ“, отвѣтъ неожиданно получился положительный. Тогда Г. В. Плехановъ потребовалъ, чтобы была оглашена

<sup>1)</sup> Къ біографіи Желябова. Былое 1906. № 8.

<sup>2)</sup> Н. Морозовъ: Возникновеніе Народной Воли. Былое. 1906. № 12.

статья Н. Морозова (изъ „Листка Земли и Воли“) о „террорѣ, какъ осуществленіи революціи въ настоящемъ“ и когда на его вопросъ, имѣетъ ли органъ партіи, никогда не стоявшей на такой точкѣ зрѣнія, право высказывать подобные взгляды, снова получился отвѣтъ утвердительный, онъ вышелъ изъ организаціи, и редакторами „Земли и Воли“ были избраны террористы Н. Морозовъ и Л. Тихомировъ <sup>1)</sup>. Всѣ попытки примирить оба противоположныхъ теченія, на что особенно много силъ потратила Софья Перовская, ни къ чему не привели, и единая „Земля и Воля“ раскололась на двѣ партіи: на вскорѣ скончавшійся „Черный Передѣлъ“ и на „Народную Волю“.

Началось героическое единоборство кучки революціонеровъ-интеллигентовъ съ самодержавіемъ, въ которомъ ихъ поддерживали лишь одни передовые рабочіе Степанъ Халтуринъ,

Тетерка, Тим. Михайловъ, Прѣсняковъ. Послѣ цѣлага ряда неудачныхъ покушеній (подъ Александровкомъ, въ Одессѣ, подъ Москвой и въ Зимнемъ Дворцѣ) народовольцамъ удалось наконецъ убить Александра II—1 марта 1881 г. (первая бомба была брошена Рысаковымъ, вторая, убившая царя и самого метателя,—Гриневицкимъ).



Пик. Иван. Рысаковъ.

День перваго марта былъ высшимъ проявленіемъ дѣятельности „Народной Воли“. Съ этого дня партія, жившая, по выраженію А. Желябова, „на капиталъ“, обезсиленная и обезкровленная, шла навстрѣчу упадку. Одинъ за другимъ выбывали изъ ея рядовъ старые испытанные борцы, герои-ветераны, а новыхъ силъ не прибывало. Вслѣдъ за Желябовымъ, арестованнымъ еще въ концѣ февраля, 2 марта просившимъ приобщить его къ дѣлу объ убійствѣ царя, въ которомъ участвовать ему помѣшала только „глупая случайность“, были взяты Геся Гельфманъ и пришедшій на ея конспиративную квартиру Тим. Михайловъ, 10 марта на улицѣ схватили Софью Перовскую, упрямо не пожелавшую покинуть столицу, 3 апрѣля были казнены главные герои 1 марта, въ слѣдующемъ (1882) году происходилъ процессъ

„двадцати“ (Ал. Михайловъ, Колоткевичъ, Баранниковъ, Сухановъ, Фроленко, Исаевъ, Морозовъ, Лебедева, Якимова и др.), годъ спустя—процессъ „семнадцати“ (Ю. Богдановичъ, Грачевскій, Корба Златопольскій, Телаловъ и др.), а въ 1884 г. процессъ Вѣры Фигнеръ и Людмилы Волкенштейнъ (и военной организаціи „Народной Воли“, къ которой принадлежали военные Ашенбреннеръ, Похитоновъ, Рогачевъ, Штромбергъ и др.). Изъ оставшихся на волѣ одни, какъ Дегаевъ, становились провокаторами, другіе, какъ Л. Тихомировъ, шли въ Каноссу, калялись, примирялись съ правительствомъ и записывались въ ряды реакціонныхъ публицистовъ.

Партія медленно разлагалась.

Даже официальный ея органъ („Народная Воля“) въ послѣднемъ номерѣ (отъ 1 окт. 1885 г.) вынужденъ былъ писать:

„Мы обязаны признаться передъ лицомъ русскаго общества, что дѣйствительно дѣятельность революціонной партіи сократилась и что вообще за послѣдніе четыре года она не столько наносила удары правительству, сколько сама старалась защищаться отъ его ударовъ“.

„Народная Воля“ умирала.

Одинъ изъ свидѣтелей этой печальной агоніи такъ резюмировалъ итогъ своихъ наблюденій: „престижъ партіи, завосанный героической плеядой первыхъ борцовъ „Народной Воли“, погибъ; людей, которые могли бы поднять упавшее знамя и понести его дальше, нѣтъ; вѣра въ жизненность программы и тактики партіи исчезаетъ“ <sup>2)</sup>.

Въ 1887 г. „Народная Воля“ перестала существовать <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Н. Морозовъ: Тамъ же. Аптектманъ: Земля и Воля.

<sup>2)</sup> Бахъ. Воспоминанія народовольца. Былое, 1907 г. № 1, 2, 3.

<sup>3)</sup> Отдѣльные народовольческіе кружки существовали, однако, въ столицахъ еще въ 90-е годы.



Крушеніе вѣры въ историческое призваніе интеллигенціи. — „Историческія письма“ Лаврова и ихъ значеніе для интеллигенціи семидесятыхъ годовъ. Разочарованіе въ силахъ „критически-мыслящей личности“. — Борьба между старыми завѣтами и обывательскимъ настроеніемъ. Поэзія Надсона. — Превращеніе революціонера въ обывателя. — „Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“ Чехова.

Крушеніе „Народной Воли“ не могло не имѣть для интеллигенціи самыхъ тяжелыхъ и печальныхъ послѣдствій.

На смѣну семидесятникамъ шель—восьмидесятникъ.

Разгромъ „Народной Воли“ былъ прежде всего равносильнъ крушенію вѣры во всемогущество интеллигенціи, въ ея историческую миссію, въ ея творческія силы. Въ 1870 г. вышла та книга, на которой воспиталось героическое поколѣніе революціонеровъ — „Историческія письма“ П. А. Лаврова. О томъ, какое впечатлѣніе она произвела на молодежь, застрявшую въ нигилизмѣ шестидесятыхъ годовъ, чѣмъ она для нея была, свидѣлствуютъ слѣдующія слова одного изъ представителей этого поколѣнія: „Мы увлекались Писаревымъ, который говорилъ намъ о великой пользѣ естественныхъ наукъ для выработки въ человѣкѣ, „мыслящаго реалиста“. Мы готовились всѣ стать такими „мыслящими реалистами“, которые жаждутъ жить во имя своего „развитого эгоизма“, низвергая всѣ авторитеты и ставя цѣлью свободную, счастливую жизнь, какъ насъ самихъ, такъ и нашихъ единомышленниковъ (т.-е. интеллигенціи). И вдругъ небольшая книжка, которая говоритъ намъ, что на естественныхъ наукахъ свѣтъ не клиномъ сошелся, что на одной анатоміи лягушки далеко не уѣдешь, что есть другіе важные вопросы, есть исторія, есть общественный прогрессъ, есть, наконецъ, народъ, голодный измученный трудомъ народъ, рабочій людъ, который поддерживаетъ на себя все зданіе цивилизаціи и который только и позволяетъ намъ заниматься и лягушками и всякими другими науками, есть, наконецъ, нашъ неоплатный долгъ передъ народомъ, великой арміей трудящихся“ <sup>1)</sup>.

Въ „Историческихъ письмахъ“ Лавровъ не только поставилъ вопросъ объ интеллигенціи (хотя и не употребляя этого слова), но и сразу же окружилъ ее свѣтящимся ореоломъ, сдѣлавъ ее творцомъ исторіи и прогресса. Соединяясь въ общегитія во имя совмѣстнаго удовлетворенія своихъ потребностей, люди создали съ теченіемъ времени рядъ учреждений, обычаевъ и возвращеній, совокупность которыхъ называется культурой. Застывая и каменѣя, эта „культура“ превращается въ нѣчто неизбѣжное, становится тормазомъ для дальнѣйшаго движенія жизни впередъ. Двигать жизнь дальше могутъ только особыя, избранныя натуры; люди мысли, мыслью постигающіе новыя потребности развитія и берущіе на себя осуществленіе этихъ потребностей — „критически мыслящія личности“. И только онѣ—эти „критически-мыслящія личности“—являются „интеллигентами“, а не всякій, „сдавшій экзамень“ и не всякій, „получившій дипломъ“, не всякій, — профессоръ и академикъ“. Двигая жизнь дальше, приспособляя „культуру“ къ новымъ потребностямъ развитія, „критически-мыслящая личность“ тѣмъ самымъ перерабатываетъ ее въ „цивилизацию“. Такъ становится она творцомъ историческаго прогресса. Въ объективный ходъ общественнаго развитія она вноситъ свои высокія цѣли—а именно, созданіе такихъ формъ общественности, которыя позволяли бы каждой личности достигнуть всесторонняго развитія „въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ“, или, иначе „воплощеніе въ общественныхъ формахъ истины и справедливости“. Превращая „культуру“ въ „цивилизацию“, критически-мыслящая личность превращаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ „процессъ“ исторіи въ „прогрессъ“ исторіи. Такъ становится интеллигенція—деміургомъ исторіи. Выполняя это свое высокое предначертаніе, критически-мыслящая личность возвращаетъ тѣмъ самымъ народу то, что она отъ него получила. Свою критическую мысль интел-



Гессъ Гельфандъ.

<sup>1)</sup> Русановъ: П. А. Лавровъ. Былое, 1907. № 2.

лигента могъ развиваться въ себѣ только потому, что миллионы были обречены работать, лишены свѣта и воздуха, знаній и красоты. Такъ какъ каждое „удобство“, которымъ пользуется интеллигентъ, каждая „мысль“, которую онъ имѣлъ досугъ приобрести, „выработать“, куплены „кровью, страданіями или трудомъ миллионовъ“, то критически-мыслящая личность безсильна и „исправить прошлое“ и „отказаться отъ своего развитія“, сниметъ съ себя „ответственность за кровавую цѣну своего развитія“, если „уменьшитъ зло въ настоящемъ и будущемъ“. А эта обязанность расплаты съ народомъ для нея тѣмъ легче, что наполнить ея сердце счастьемъ. Ибо „отыскивая и распространяя истину“, „уясняя себѣ справедливый строй жизни“, „стремясь воплотить его“, критически-мыслящая личность не только дѣлаетъ все, что можетъ „для страдающаго большинства въ настоящемъ и будущемъ“, но и „увеличиваетъ собственное наслажденіе“.

Чаруя интеллигенцію, только что выступившую на сцену исторіи, грандіознымъ образомъ критически мыслящей личности въ роли творца, превращающаго „культуру“ въ „цивилизацию“, а „процессъ“ исторіи въ „прогрессъ“ исторіи, „Историческія Письма“ Лаврова подкупали своимъ ученіемъ о долгѣ этой критически мыслящей личности передъ народомъ и о ея обязанности „снять съ себя ответственность за кровавую цѣну ея развитія“ чрезвычайно многочисленную и вліятельную въ семидесятыхъ годахъ группу интеллигенціи, а именно „кающихся дворянъ“, этихъ — по выраженію одного изъ крупнѣйшихъ идеологовъ эпохи — представителей „уязвленной совѣсти“. Подъ неотразимо-увлекающимъ впечатлѣніемъ отъ этихъ „Писемъ“ двинулась въ началѣ семидесятыхъ годовъ (1872) передовая интеллигенція въ народъ, въ деревню, въ качествѣ пропагандистовъ и бунтарей. Это было движеніе „стихійное“, по опредѣленію Кропоткина, „одно изъ тѣхъ массовыхъ движеній, которыя наблюдаются въ моментъ пробужденія человѣческой совѣсти“. Это было, по выраженію Степняка-Кравчинскаго, скорѣе какой-то „крестовый походъ“. „Люди стремились не только къ достиженію опредѣленныхъ практическихъ цѣлей, но вмѣстѣ съ тѣмъ къ удовлетворенію глубокой потребности личнаго нравственнаго очищенія“. „Соціализмъ“ былъ для нихъ „религіей“, а народъ „божествомъ“. Наткнувшись въ своей бунтарско-пропагандистской дѣятельности, часто просто просвѣтительно-культурной, не только на равнодушіе народныхъ массъ, но и на непреоборимыя полицейскія препятствія, критически мыслящая личность — возмущалась. Громче голоса „кающихся дворянъ“, стремившихся „снять съ себя ответственность за кровавую цѣну своего развитія“, послышался голосъ интеллигентовъ-разночинцевъ, этихъ по выраженію упомянутаго идеолога эпохи представителей „возмущенной чести“. Призывъ къ служенію народу смѣнился призывомъ къ борьбѣ съ правительственной системой. Пропагандистовъ и бунтарей, „деревенщиковъ“ смѣнили народовольцы. Въ такой же, если не въ большей степени сознавали они себя творцами исторіи. Опираясь лишь на себя (хотя и пропагандируя среди рабочихъ и среди офицерства), они взяли на себя огромную задачу однимъ взмахомъ превратить „процессъ“ исторіи въ „прогрессъ“ исторіи. Подобно библейскому силачу они взирали себѣ на плечи гаазскія ворота, чтобы отнести ихъ на вершину горы, но гаазскія ворота оказались имъ — не по силамъ.

Критически-мыслящая личность не претворила „процесса“ исторіи въ „прогрессъ“. „Мысль“, этотъ молотъ, которымъ она хотѣла выковать свѣтлое будущее, оказалась обманщицей.

Подъ гнетущимъ сознаніемъ этой катастрофы слагался душевный мѣръ восьмидесятника. Онъ еще живо помнилъ поколѣные борцовъ, стремившихся „не бесполезно жизнь прожить“, поколѣные, которому „отъ начала и до заката дней“ звучалъ голосъ идеала

Впередъ за мѣръ и за людей.

Онъ помнилъ, съ какой бодрой вѣрой, съ какой радостной надеждой они вступали въ жизнь, но обманула ихъ увѣренность, что близко время —

Когда, какъ дивное сіяніе,  
Блеснетъ повсюду надъ землей —  
Свобода, честность, правда, знанье  
И трудъ высокій и святой!

Для интеллигента-восьмидесятника было очевидно, что мысль, это главное оружіе критически мыслящей личности, этотъ волшебный ключъ отъ вратъ заколдованнаго эдема, не сдержала своего слова, не оправдала возложенныхъ на нее надеждъ. Если семидесятникъ,

воспитанный на „Исторических Письмах“ Лаврова, беззавѣтно вѣрилъ въ мысль, то восьмидесятникъ Надсонъ, свидѣтель крушенія идеаловъ старшихъ братьевъ, былъ готовъ ее про-  
клонять, ее, „въ дерзкомъ ослѣпленіи весь міръ мечтавшую-сіяніемъ озарить“.

Къ чему кипѣла ты въ работѣ неустанной?  
Что людямъ ты дала и что дала ты мнѣ?  
Не указала ты изъ мглы исходъ желанный,  
Не помогла родимой сторонѣ!

Между тѣмъ, какъ старшіе братья ясно видѣли передъ собою опредѣленную цѣль: „вопло-  
щеніе въ общественныя формы истины и справедливости“, между тѣмъ, какъ они были  
убѣждены, что „процессъ“ исторіи они превратятъ въ „прогрессъ“ исторіи, младшее поколѣніе,  
вышедшее на историческую сцену послѣ ихъ разгрома, подъ свѣжимъ и тягостнымъ впечат-  
лѣніемъ ихъ крушенія, усматривало въ историческомъ движеніи уже только „процессъ“, а не  
„прогрессъ“. Все по прежнему жизнь шла впередъ своимъ властнымъ шагомъ, шла впередъ  
„сильная“ и „свѣтлая“, а восьмидесятникъ Надсонъ, хватался въ изступленіи за край ея  
одежды и съ искривленнымъ отъ муки лицомъ, задыхаясь, бросалъ ей въ лицо слова, полныя  
злости и гнѣва:



Арестъ.  
Съ картины И. Рѣпина.

Въ твоихъ законахъ смысла нѣтъ  
И цѣли нѣтъ въ твоемъ движеніи!

А когда онъ обращалъ свои взоры за грани настоящаго, туда, гдѣ старшимъ братьямъ  
мерещился миражъ обѣтованнаго рая, восьмидесятникъ не видѣлъ тамъ ничего, кромѣ зіяющей  
пустоты и восклицалъ угрюмо вмѣстѣ съ Надсономъ:

Темно грядущее. Пытливый умъ людей  
Предъ тайною его безсильно замираетъ.

Такъ, обманутый мыслью, не оправдавшей возложенныхъ на нее надеждъ, не улавливая  
въ „процессъ“ исторіи „прогресса“, восьмидесятникъ погружался въ пессимизмъ, невѣдомый  
старшимъ братьямъ. „Жизнь безъ призванія“ давила его, какъ кошмаръ, и вмѣстѣ съ Надсо-  
номъ онъ порою восклицалъ:

Мнѣ кажется, что я схожу съ ума!

И передъ нимъ, извѣрившимся и изстрадавшимся, вставалъ изъ тьмы прошлаго образъ  
великаго проповѣдника Нирваны, образъ Будды (Надсонъ трижды пытался его возсоздать).  
Сквозь эти мечты о небытіи все громче однако пробивалось въ душѣ интеллигента-восьми-  
десятника иное настроеніе. Если борьба за страждущихъ, которой старшіе братья посвящали

всю свою жизнь, в которой они видѣли свой „неоплатный долгъ передъ народомъ“, завершилась катастрофой, если „критически-мыслящая личность“ вовсе не является демиургомъ исторіи, если исторія есть только „процессъ“, а не „прогрессъ“, то не разумнѣ ли жить во имя собственного самоутвержденія?

И душа восьмидесятника стала ареной потрясающей драмы. Актерами въ ней были „альтруизмъ“, унаслѣдованный отъ „Историческихъ Писемъ“ Лаврова, и „эгоизмъ“, взлѣлѣнный крушеніемъ поколѣнія борцовъ-революціонеровъ. Вчера еще поэтъ этого печальнаго безвременья былъ готовъ „отречься отъ личнаго счастья“, вчера онъ еще „клеилъ презрѣннѣ всѣхъ этихъ сытыхъ людей“, вчера онъ еще говорилъ:

Что покуда на свѣтѣ есть слезы  
И покуда царить непроглядная тьма,  
Безконечно постыдны заботы и грезы  
О теплѣ и довольствѣ родного угла.

А сегодня, когда въ окно заглянула весна, ему уже „безумно хочется счастья“.

Все чаще въ ухахъ восьмидесятника раздавался голосъ: искусителя-демона, звавшего его забыть старые идеалы — все равно потерпѣвшіе крушеніе — и зажить своей личной удобной и пріятной жизнью:

За братьевъ, страждущихъ въ удушливой ночи,  
Не исходи по каплѣ кровью;  
Не стоить жалкій міръ ни жертвъ, ни слезъ,  
Ищи-жь и для себя благоуханныхъ роз!

И бывали „мгновенія“, когда интеллигентъ-восьмидесятникъ внималъ голосу искусителя, когда онъ, по примѣру поэта этого поколѣнія безвременья, былъ готовъ „украсить цвѣтами стѣны тюрьмы“ и „вспугнуть огнями поэзіи“ ютившихся въ ней „мышей, паутину и тьму“, когда онъ словами Надсона говорилъ себѣ и другимъ:

Прочь же мрачныя думы и слезы, все прочь,  
Что рождаетъ тоску и сомнѣнья!  
Мы на пиръ нашъ друзей и подругъ созовемъ  
И въ объятяхъ любви беззавѣтно уснемъ...

Въ такія „мгновенія“ онъ былъ готовъ проклинать каждого, кто за „сплетенными сѣтью цвѣтами“ упрямо будетъ видѣть все ту же „тюрьму“, каждого, кто крикнулъ бы пирующимъ „помнитесь, братья!“

Поэтъ восьмидесятихъ годовъ, поэтъ безвременья, Надсонъ лично остался въ душѣ вѣренъ старымъ альтруистическимъ завѣтамъ семидесятниковъ. Последнее слово осталось не за демономъ-искусителемъ. Слишкомъ рано торжествовалъ онъ. Вотъ онъ появляется изъ-за угла, отвѣшиваетъ ироническій поклонъ и напоминаетъ поэту о его бывшихъ клятвахъ — „отречься отъ радости жизни для битвы со зломъ“. Поэтъ выпрямляется. Снова ярко и громко звучать въ его сердцѣ старыя „забытыя слова“:

Да, смѣйся,  
Что мнѣ малодушному хочется счастья,  
Какъ путнику тѣни въ томительный день,  
Но знаю я твердо, что скоро съ тобою  
Я слажу, мой демонъ, изгнавъ тебя прочь  
И сердце, какъ въ старь, не сожмется тоскою —  
Тоскою о счастьи въ весеннюю ночь.

И также, какъ искусителя-демона, гналъ Надсонъ отъ себя другую опасную сирену — соблазнительницу. Воспитанный въ традиціяхъ семидесятниковъ, признававшихъ лишь такую поэзію, которая ведетъ людей „въ бой съ неправдою и тьмой“, онъ видѣлъ пороку передъ собой иной образъ поэзіи — „прелестницу нагую“ въ вѣнкѣ изъ „душистыхъ розъ“, несущую съ собой „гармонію небесъ и преданность мечтѣ“.

И былъ законъ ея — искусство для искусства.  
И былъ завѣтъ ея — служенье красотѣ











